ВРЕМЯ И МЫ

46
1979

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПРОТИВОСТОЯЩИМИ ДРУГ ДРУГУ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ВЗГЛЯДАМИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА И АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА. "ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХА И ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ" ОЗАГЛАВИЛ СВОЕ ЭССЕ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ Э. КОГАН. "О КОММУНИЗМЕ, О ЗАПАДЕ И О СЕБЕ" ГОВОРИТ ЗИНОВЬЕВ В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ.

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз • месяц

46
1979 ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ДОРА ШТУРМАН
ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y. 10033 Т. (212)781-054)9

Представители журнала:

Англия — Александр Штромас
Croft House. Top Flat 32 New Hay Road Rastrick, W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

Западный Берлин — Лотар Ролл
Buschkrugallee 98. 1000 Berlin 47, t. 606-77-61

Канада — Юрий Лурьи
30S Robson Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773

ФРГ — Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Александр ГУЧКОВ
Верное средство 5
Феликс РОЗИНЕР
Четыре рассказа 24

ПОЭЗИЯ
Лия ВЛАДИМИРОВА
Прошедших дней грядущие тревоги 58
Дора ШТУРМАН
Его Еретичество анекдот 66

ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА, КРИТИКА
Н. ПРАТ
Еврокоммунизм и Москва 72
Эмиль КОГАН
Противоречие духа и дух противоречия 94
Ефим ЭТКИНД
Путь к России 116

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
А. ЗИНОВЬЕВ
О коммунизме, о Западе и о себе 135

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Михаил ДЕМИН
Горькое золото 152

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Н. ГРОСС
Стерильная чистота и разнузданное безумие 206

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Александр ТУЧКОВ

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО

1

Я, дорогие товарищи, стыдно признаться — привидений боялся. Страдал таким смешным пережитком. Это в наше-то время, когда кругом, куда не плюнь, наука и техника, космические достижения и, вообще, самосознание молодых африканских государств. А тут такие суеверия... Впрочем, сейчас легко судить, а раньше, бывало, как один на один останешься — невмоготу. Чуть, знаете, шваркнет чего-нибудь в темноте, посыпется, сердце так и обрывается.

Бледный стал, похудел. Ночей не сплю. А утром, на работе, сотрудники подмигивают: "Ты бы, Витюша, полегче, что ли? Со всеми дамочками не переспишь. Или выходной себе устраивай, или уж зарплату спрашивай..."

А мне — хоть плачь. Какие там дамочки? Ни до чего мне. Однако признаться в таком стеснялся. Боялся, что засмеют, заклеймят позором.

К докторам ходил. Порошки столовыми ложками ел. Все впустую. Не знаю, чем бы и кончилось, если бы не Вавилыч. Здорово помог. Нет слов. Но до чего же незатейливо! Ведь на виду лежало. Простое, как урчание в животе. Самому бы додуматься, но нет. Я, как и многие, к тому, что ясно, как день, с подозрением относился. Все, знаете, копал, копал. Думал, может, в индийском вероучении секрет лежит или в самиздате. А оно тут...

Теперь как рукой сняло. Поправился. Веселый стал. Кушаю с аппетитом. И, если сотрудники, к примеру, про женщин шутят, то с удовольствием принимаю участие в обсуждении.

Другим человеком стал. В Бога не верю, черта не боюсь и за коммунистическую партию обеими руками...

... Во, во, скептики уже заулыбались. Знаем, дескать, таких. Не мытьем, так катаньем подбираются. А я вовсе и не подбираюсь. Я просто расскажу, что произошло со мной, а еще вернее не со мной, а с Вавилычем.

2

Вавилыч, мой сосед по лестничной площадке, человек многогранный. Любит, например, хорошую женщину. Это, между прочим, всегда его первый тост при выпивке. Выпьем, говорит, за тех ворот, откуда вышел весь народ.

С грамматикой у него, может, и нескладуха, потому что в самом семнадцатом году случилось родиться. А там уже поперло без передыху, одно к одному. И тебе очищающая гроза революции, и гражданская война, и пятилетки, и суровые испытания Великой Отечественной. Некогда ему было, знаете, копаться в тонкостях тургеневского, золотого правописания. Но в остальном он был человек самый что ни на есть положительный. Выпить умел крепко, сплясать, спеть что-нибудь вроде: "Папанин спит на льдине, точно на перине, только слышны крики белых медведей"...

Песен этих он знал пропасть. Тут даже к нему из Москвы очкарики какие-то приезжали песни записывать. Но разочаровал он их. Либо конец песни знал, либо начало, или пару

строк из середины. Уехали очкарики ни с чем. После Вавилыч признался мне, что просто не хотел им песен давать. "Обидели они меня, Витюша, в самое темечко оскорбили. Они эти песни блатными называют. А какие же они блатные, самые что ни на есть народные песни."

И сплясать любил. "Витюша, говаривал он, настоящая песня и пляска — всегда вместе, ну совершенно, как партия и народ".

Табуреточку, бывало, установит посреди комнаты, утвердит ее хорошенько, вскочит и давай ножками выделывать. Размер обуви у него мелкий. Ботиночками топает быстро-быстро, прищелкивает, перебирает каблучком.

Зажигательный человек.

Поехали мы как-то на рыбалку с субботы на воскресенье. Водочки взяли, закуску, палатку. Удочки не забыли тоже. Все "чин чинарем", как любил говорить Вавилыч.

Сначала, конечно, искупались. Пошумели. Места под Выборгом. Озера. Кругом никого. Тишина на многие километры. Где-нибудь на припеке муха зудит, так на другом берегу слышно.

И мы с Вавилычем, привыкшие к ленинградской дисциплине, шум на всю Финляндию подняли, душу отводили. Ныряем, выныриваем. Нецензурные слова выкрикиваем и после красотой эха любуемся. Подражаем возгласам различных животных. Одним словом, веселимся, смеемся до упаду. Да и как не смеяться, когда, к примеру, Вавилыч нырнет в воду в своих широченных семейных трусах, человек человеком, самый обыкновенный гражданин, а вынырнет — вылитый водяной или вражеский диверсант в спецводолазном костюме от груди до колен.

Надо заметить, по поводу этих трусов у Вавилыча с сыном не раз горячий спор разгорался. Так сказать, нетленная проблема отцов и детей. "Мне, говорил сын, просто досадно каждый раз на эти ваши трусы-транспаранты глядеть. Такие штуки только старые старухи носят, которые не подвержены веяниям и прогрессу." На что Вавилыч отвечал ему каждый раз: "Ты, сынок, если стыдишься меня, смени фамилию. А нет,

так не запихивай меня в ваши прогрессивные одежи. Потому как люблю, чтобы сквознячок был, воздух чтобы свободно циркулировал".

Короче, искупавшись вволю, развели мы костерок, простынку раскинули, а на той простынке разложили бутерброды, колбасу, селедочку, лучок зеленый, бутылку и стаканы. Просто все, но красиво. Воздух. И самый этот момент, когда еще не начато, но уже все готово, прекрасен. И Вавилыч, как настоящий человек, понимал это. Не спеши, Витюша, вникни, говорит, в момент...

Помолчим мы, сосредоточимся, а потом он как гикнет: "Поехали, Витя!" Стаканчик в рот опрокинет, лучок укусит и скажет с чувством: "Вот она..."

А время, между тем, подступает вечернее. Смутнеет все. Тишина такая, будто уши ватой заложены. Туманы промеж деревьев растекаются, сползают с берегов на гладь озера. В еловом мраке покрикивает кто-то. Крикнет эдак коротко, просвиристит и смолкнет разом. Будто ему по голове ударили.

И начинает, знаете, полегоньку это самое подступать. Страхи мои. И хоть не один, а все равно чувствую, как сердце стынет и хмель проходит. Не годится так, думаю, выходной себе портить. И рассказываю Вавилычу все начистоту. Помоги, говорю, эдакая мура меня заедает.

А Вавилыч человек, хоть и деликатный, но прямой. Если посоветовать не может, так умного вида делать не будет, а прямо так и скажет: не могу, мол, очень извиняюсь. А если может, опять же надуваться не будет или ножку на ножку закидывать, а просто расскажет что-нибудь подходящее к предмету.

Так и сейчас было. Ты, говорит, Витюша, не горюй. Чего было — прошло, чего будет — не наступило. Почувствуй момент и разлей-ка по новой, а я сейчас расскажу тебе кое что.

Пропустили мы еще по одной, закутали это, и он начал так:

3

"Пришел я, Витюша, с войны, гол как сокол. Долго не мог никуда прилепиться. Лет десять по общежитиям мотался. Наконец, комнатенку раздобыл. Комнатка незамысловатая. Помещение подвальное, сыро. Но, в общем, жить можно. Достал я себе мебелишку, диван, стены обоями заделал. И полегоньку все наладилось. С работой утряслось, друзья заходить стали. Иной раз тихо, тихо ступая по половицам коридора, дамочку приводил...

Вскорости собирался я приобрести "КВН".

И одно только, Витюша, душу саднило — мой сосед. Не давал мне житья. Смрадный старичок такой, из стукачей. Однако со мной ему было нелегко. С такими, как я, их профессия обычно не имела силы. Чего обо мне стучать? Войну прошел, все документы и награды налицо. Ни в чем замечен не был, на разговорчики разные не поддаюсь. Потому соседу приходилось туго, нечего про меня в докладной записке состряпать, хоть плачь. Но так как его природные способности не могли быть в бездеятельности, стал он, бедняга, мне просто гадить.

Или из библиотечной книжки страницу рванет, или сыпанет соли в чай и все время подсматривает, вынюхивает все. За нуждой, бывало, пойдешь, тут же и его дверка скрипнет. Головенка промеж дверей просунута. Глядит. Точь-в-точь невзрачная репка с овощехранилища. Желтоватая головенка такая, в морщинах, и клочки волос за ушами. Отвратительнейший гражданин.

И чем дольше я проживал в этой квартире, тем более мне становилось ясно, почему так радостно и суетливо обменял мне эту комнату на мой угол в общежитии бывший жилец.

И вот как-то в осень сидел я вечерком: то ли чай пил, то ли радио слушал. Только чую вдруг, как мои босые ноги сквознячок лизнул. Обернулся я и вижу, что дверь полуотворена, а за этой ее полуотворенностью вроде бы пространство, гулкое, с темным и холодным ветром...

Сосед, думаю, окна раскрыл, проветривает. Встал я, подо-

шел к двери и шибанул ее ногой, чтобы захлопнуть. Но почувствовал мягкое сопротивление и в то же время стон услышал. Глянул я пристальнее вниз и увидел, что не позволило мне закрыть дверь. Это была ступня, бледная, голая, нежная. Как бы детская или женская. И так я сильно долбанул по двери, что теперь красный рубец от удара расплывался по ступне.

Надо признаться, перетрухнул я малость. Что же это за чушь такая замогильная за дверью притаилась. Распахнул двери и отступил в страхе...

Влекомое сквозняком, входило в мою комнату нечто. Не берусь, Витюша, описать, что это было. Но что-то вроде умершей недавно женщины или юноши. Глядит оно в никуда незрячими глазами и тихо, горестно так стенает. Кожица нежная, и по ней пятна трупные проступают, пятна гниения. И море волос струится за дверь, в темноту.

Отступил я назад, а сам рукой шарю, чисто машинально, в поисках чего потяжелее. А оно идет на меня...

Только вдруг волосы, трепетавшие за дверью, разом, со щелчком прилипли к косяку. Тихо стало. Слышно даже было, как кто-то по лужам во дворе шлепает.

Оно же, это, чьи волосы, рванулось судорожно, дернулось. Раздался треск. Лопнула кожа лица, поехал скальп, поползло с плеч, с груди. Страшно забелели кости черепа, свежо забелели. Сверкнули кинжалами ключицы в свете моей двадцативаттной лампочки. И пройдя еще пару шагов, оно рухнуло у моих ног липкой грудой.

Чувства мои, Витюша, были разнообразны и неожиданны. Разнообразны оттого, что не мог сосредоточиться, чего же предпринять? А неожиданны оттого, что только сейчас понял, чего испугался. Нет, вовсе не это несчастное создание испугало меня, а мысль о соседе обожгла. Ведь кто поверит мне, что я не убил человека, кто поверит, что все это было так? Смешно даже и подумать про рассказы в угрозыске об мертвецах и привидениях. А доказательства налицо — останки человека...

И как бы в подтверждение моих мыслей послышался звук щеколды и зачернелась щель в приотворенной соседовой двери. В ней, в щели, змеючьи глазенки сверкнули, и дверь захлопнулась.

Настала тишина, и лишь в голове, точно пульс, мысль стучала: "Кто поверит тебе, что было именно так? "Похоже, похоже, что наступил долгожданный соседов час.

Однако надо было все же действовать. Я достал совок, щетку и тряпку. Сгреб мерзость в совок и сложил в ведро. Я побежал, было, на кухню за водой, как в разгар суеты услышал тихий скрип входных дверей. Одним прыжком я оказался у соседовой комнаты. В ярости рванул ручку двери, но она была заперта. Слепо черна была замочная скважина. Я выбежал во двор и лишь полупальто, край пальто успел заметить, мелькнувший в подворотне, в тусклом свете ночного фонаря мелькнувший.

В отчаянии я бросился обратно. Скользя и падая в отвратительный слизи, судорожно скреб, чистил, отмывал...

Однако еще не было сделано и половины работы, как раздался грубый стук в дверь.

Руки мои упали, Витюша, дыхание пресеклось. И лишь об одном мечтал — удушить соседа. Сейчас либо после срока. Не важно когда, но удушить. И настолько ситуация казалась безвыходной, что я даже вроде бы успокоился. С почти безмятежным выражением лица открыл двери.

В квартиру ввалилась целая толпа. Участковый, три милиционера, дворник и пара дружинников. Пара здоровенных хулиганов с красными повязками на рукавах. Позади их всех ныряло шакалье личико соседа.

Все общество поперло прямиком, безо всяких объяснений к моей комнате. И впереди всех участковый. Лицо его было заспано, и выражение его не сулило ничего хорошего. Он был не в духе. Выковыряли его прямо из теплой постели, может, с жены сняли, посреди ночи.

Несомый и подталкиваемый ими, я подошел к моим дверям и замер. Вот тут-то я по-настоящему испугался. Возле двери было чисто. Будто бы вообще ничего и не происходило. И ведро тут же стояло, но сухое, с прилипшим внутри и ока-

меневшим давнишним сором. Более того, и мои руки, и одежда были сухи и чисты.

"Что случилось?" — спросил я тихо не то себя, не то неизвестно кого. И пока милиционеры и дружинники, опрокидывая все, рыскали кругом, участковый ответил, оглянувшись: "Да вроде ничего, а что испугались-то?"

"Как что, товарищ капитан? — отвечал я, — ведь среди ночи сам участковый, с милицией... Как тут не испугаться?"

В возникшей паузе медленно и тяжко, как корабль, разворачивался участковый в сторону соседа. Взял его за грудки и сказал негромко: "Знаешь ли, гражданин, что за такие шутки над сотрудниками милиции полагается?" И поволок его к выходу.

С тех пор, Витюша, этого соседа и след простыл. Не видал я его больше. Однако все это меня мало огорчило. Через два дня забыл. Нас, фронтовиков, очень пропотеть надо, чтобы испугать. Мертвых этих я видел достаточно и в самых разнообразных состояниях. От совсем свежих, с румянцем еще на щеках, до, так сказать, находящихся в последней кондиции, где уже ничего невозможно различить.

Помню, кстати, одного убитого немца. Зимой было. Смерзся он, как бревно. Ребята, затейники, штаны с него сняли и поставили на перекрестке, вроде, как указатель. Морозище был страшный. Луна и все седое через синеву от неестественной температуры.

И стоял этот немец аж прозрачный весь. Глаза открыты, ресницы желтые, в форменном кителе и без штанов. Без смеха проехать было невозможно.

Как сейчас помню, на животе у него волосишки рыжеватые, слабенькие. И этая штуковинка под ними, незатейливая такая, смотреть жалко, аж слезы выступают.

Подвозил как-то раз Нюрку-регулировщицу на дежурство. Так она глянула на его этот стручок и сказала: "Да, жидковато у них с этим делом по сравнению с нашими ребятами. Не выиграть им войны." Как в воду смотрела.

А однажды ребята, шутники, такую юмореску разыграли. Взяли да и отбили немцу это самое и на лоб привинтили. Чего было... Одного шофера такая кондрашка от смеха схватила, что с управлением не справился и машину об столб побил. Судили, конечно. Хотели к стенке поставить за порчу военной техники в такое время. Но потом помиловали, на передовую отправили. Политрук один отбил его. Смех, говорит, этот, хоть и нанес небрежность и ущерб боевой технической единице, но смех этот, товарищи, нагруженный. Идеологически верный смех. Он над врагом смеялся.

Да, так я не об этом. Это все меня мало трогало. Другое мучало. Грех случился. Вышло так, что вроде бы проворовался я. Дело так было.

После этой суки, что участковый замел, поселился моим соседом некто Павел Васильевич, или просто Паша. Человек непьющий, работящий. Тишайшего поведения человек. На работу идет — неслышно, с работы приходит — неслышно. Как живет — неслышно. А если и шебаршится чего-то, так по хозяйству. Не мог он равнодушно глядеть на покосившуюся полку или на расшатавшуюся половицу. Обязательно исправит. И молчаливый человек был чрезвычайно. Управдом мне по секрету рассказывал, что Паша сидел в свое время. Что, мол, он давно, когда-то, в дни молодости, пропел какие-то куплеты, вроде: "Был он просто Лева, жид обыкновенный, стал товарищ Троцкий — комиссар военный..." Ну, и схватил свою десятку в самые горячие годы. Через это, дескать, он и неразговорчивый.

Как бы там ни было, но наступили майские праздники. Три дня выпало. Первое мая — пятница, а еще суббота и воскресенье. Паша в деревню подался, на праздники. А я по делам замотался и забыл хлеба купить. А утром — хвать, все магазины закрыты. Первого и второго я с друзьями выпивал, а третьего домой пришел — нет хлеба. А мы с Пашей все на кухне держали, доверяли друг другу.

Стал я по полкам шастать, все есть, а хлеба нет. А у Паши батон лежал. Первым побуждением у меня было не брать батон. Час не беру, другой не беру. На третий рассчитывать-выгадывать стал. Возьму, думаю, батон. Паша все равно в понедельник только к вечеру приедет. А я утром другой куп-

лю и положу ему на полку. Не снял же он, в самом деле, точную фотографию с батона.

И взял. А все остальное было. Сижу себе, чаек попиваю. Как сейчас помню, чай пью и книжечку какую-то листаю, про войну и забавы ради карандашом помечаю, где вранье.

Не исчиркал я еще и с десяток страниц, как ощущаю какое-то непонятное чувство. Вроде бы кто-то за спиной стоит.

Развернулся я на стуле и вздрогнул от неожиданности. Паша передо мной стоит. Бледный, волосенки мокрые, ко лбу прилипли. И взгляд печальный такой, укоряющий. И качает его, родимого, мотает из стороны в сторону.

Ну, думаю, и ничего. Имеет человек право в праздники выпить? Имеет. А такой замечательный парень, как Паша, и в пьяном виде сознательнее другого трезвого. И спрашиваю его весело: "Скажи по правде, Пашуля, чего в поезде пил, самогон или обычную водяру? — Он молчит, а я продолжаю, — пойди-ка, дорогой, поблюй, а я тем временем тебе чифиру заварю. После спать пойдешь, а то на тебе лица нет". Жили мы с ним дружно, помогали друг другу.

Но Паша продолжает молчать и смотрит еще укоризненнее, еще печальнее. Долго молчал, а потом говорит: "Это, говорит, мое личное дело, чего я пил, самогон или водку или, может, воду речную. А только не ожидал от тебя, Вавилыч, такого. Батон своровал. Вот не ожидал. Раньше, бывало, стучишься в двери, спрашиваешь разрешения щепотку соли взять. А тут — целый батон".

И как же неловко мне было, Витюша, не пересказать, как неудобно. В жизнь чужого не брал. Всю войну шофером питьевой спирт на передовую возил, доверяли. То есть пил спирт, как и все, но, который доверяли, ни глотка не взял. А тут так жидко обделался.

И объяснить пытаюсь, что, мол, не украл, а вроде бы как занял. Что куплю завтра...

А Паша повертывается, чтобы уходить, и добавляет: "Все это — объяснения-признания, Вавилыч. А все равно, некрасиво чужие продукты питания воровать".

И ушел, качаясь. Полночи я не спал от стыдухи. А утром

стук-гром в двери. Открыл я — целая куча народу и управдом входят. Входят, открывают Пашины двери и начинают упаковывать его имущество. А я стою в дверях и интересуюсь у управдома товарища Савельева: "За что, спрашиваю, Пашу арестовали?" "Не арестовали его, — отвечает Савельев, — умер он. А это родственники его за личными вещами приехали. Потонул он в реке. Выпили они лишнего и пошли совместно купаться". "Позвольте, удивляюсь я, да я вчера его видел, когда же он успел утонуть, ночью, что ли?"

Глянул на меня товарищ Савельев строго. Ты, говорит, Вавилыч, сильно выпиваешь, но, впрочем, все выпивают. Потому что не мог ты видеть Пашу вчера, он в самое первое мая и утонул.

Тут у меня на время способность речи отключилась. Но на вчерашнем настаивать не стал. Промолчал я, а только двери в комнату стал запирать на ночь.

Мелкий вроде случай, а ночи три ворочался, заснуть не мог. Вот, думал, как получается. От управдома, товарища Савельева, концы можно спрятать, от ОБХС — тоже. От самой Москвы утаишь, а выше нет, не спрячешь, все известно. Вспоминал все, много ли в моей жизни этих самых концов было...

Потом отошло. Жизнь наладилась в обычную колею. Снова с работы домой, из дома на работу. По вечерам, если тепло, домино во дворе зашибаем. Месяцев с пару прошло.

Сижу как-то дома, все эту книжку про войну черкаю. А может, уже другую. Не помню. Как слышу шорох в коридоре. Открываю дверь, свет зажигаю и у соседовой двери старушонку обнаруживаю. Новую жиличку, видно, Савельев прислал.

Старушка и старушка. Одета по бедности, самая обыкновенная. Одежды на ней старомодные. Шалька на плечах, какие до войны носили, и брошью застегнута.

Вот только с глазами, смотрю, у нее плоховато. На оба глаза бельмы огромные. Призрачные такие глаза. Но, видать, какие-то щелки в этом белом имеются, потому как она самостоятельно ходит и передвигается. Да, размышляю, вот так иногда взгрустнешь, что, мол, и одинок, и не молод, и беден,

а потом стыдно за нытье становится. У других еще хуже, как вот у этой бабули с глазами.

Отвел я взгляд. Нетактично, думаю, смотреть так в упор на чужие физические недостатки, и говорю весело: "Милости просим, бабушка. Будем соседями. В следующий раз, как зайдете, ровно три шажка по стеночке сделайте, рукой пошарьте, выключатель здесь. Чтобы в потемках не плутать. Квартирка, конечно, не очень. Попросту подвал. Но жить можно. Мое имя-отчество такое-то, а ваше как...?"

А бабуля молчит. Только бельмами своими пялится и молчит.

Ну, думаю, ладно. У каждого свои правила жизни. Это еще, может, и лучше, что молчит, чем говорила бы без остановки. Все одно, второго Пашу днем с огнем не найдешь, а лучше этой бабушки ничего не придумаешь. Не будет ни возгласов страсти, ни драк, патефон не будут гонять до посинения.

И пошел себе на кухню. У меня там щи поспевали. Помешал щи, попробовал, сольки сыпанул, снова попробовал. Годится. Стал в тарелку разливать и буханку разламывать, как глядь... у окна снова старушонка та. Я даже вздрогнул от неожиданности. Как прошла, и не заметил. Увлекся, видно, когда щи нюхал.

Вздрогнуть вздрогнул, но рассуждал про себя спокойно. На то, думаю, она и старушка, чтобы тихо передвигаться. Ничего удивительного тут нет. Это если бы Ерофеев, водопроводчик наш, громаднейший мужчина, так прошел, было бы действительно удивительно. Потому что его всегда слышно. Он, к примеру, на пятом этаже работает, а шаги его, пятидесятого размера, на первом отдаются. А тут все естественно...

Тарелку щей себе налил, преломил хлеба, бутылку достаю. Бутылку достаю и в то же время предлагаю бабушке: "Вы, говорю, бабушка-старушка, щец не побрезгуете? Я вам сейчас налью. И не извольте беспокоиться, капуста свежая, мясо вчера куплено".

А она молчит. Бельмы уперла в меня и ни слова. Э, думаю, вот обидно-то за человека. У нее, видно, не только с глазами туго. "Вы, бабуля, — продолжаю я, — не робейте. Вы пальцами — знаками покажите мне, налей мол. И не стыдитесь по поводу отсутствия дара речи. Не физические недостатки унижают человека, другое. Не стесняйтесь, говорю".

Наливаю ей щей во вторую тарелку, хлеба отрезаю с серединки, где помягче, а сам утешаю ее: "Это ничего, что у вас со зрением. Есть у меня приятель один фронтовой. С ним тоже подобная штука случилась. Раз они в блиндаже сидели, и накрыло их тяжелым снарядом из немецкой крупнокалиберки. Известное дело — одних убило, других ранило, а с приятелем моим чудесный случай приключился. Пальца не оцарапал. Одно только произошло — с глазами. Они у него, так сказать, в левую сторону съехали. Такое, знаете, впечатление, что человек все время влево смотрит. А парень замечательный, лично знаком. Но по поводу этих самых глаз у него всегда бывали недомолвки с людьми. Иные, которые его не знали, укоряли частенько. Что-то, говорят, Семен, у тебя взгляд вороватый какой-то, в глаза не глядишь. А после, когда узнают его хорошо, самим стыдно. Извиняются. У него и с женщинами из-за этого недопонимание происходило. Придут, к примеру, домой с подругой. Выпьют, покушают, баловаться начинают. А подруга ему и говорит целомудренно: "Ты,— говорит, — Семен не смотри, пожалуйста, как я раздеваюсь". Он и не смотрит. То есть отвернется вбок. Он-то и действительно не смотрит, но так как глаза скошены контузией, получается обманчивая картина подглядывания.

Обернулся я тут случайно и осекся, смолк. Потому что никого у окна не было. То есть, только сейчас здесь старушка стояла, а теперь — нет. Огляделся я — кухня пуста. Бросился в коридор, тоже пусто. Двери Пашкины на печатях.

Тогда-то и коснулась, прошла по сердцу прохлада. Как во время купания, когда рыба по ноге склизнет.

Взял я обе тарелки, хлеб, бутылку и в комнату к себе. Обычно на кухне обедал. А тут — скорее в комнатенку и на ключ.

Напился я, Витюша, в тот вечер, вмертвую, только бы не думать про всю эту муру.

4

Утром, распадаясь по деталям, на работу пошел. И встречаю товарища Савельева. Встречаю его и говорю недовольно: "Оригинального жильца вы мне, управдом Савельев, подселили". А после рукой махнул. Ладно, думаю, если разобраться, чего мне эта старушка сделала, тем более на работу опаздываю.

А Савельев чует мой дых и укоряет: "Ты же фронтовик, Вавилыч, а пить не умеешь, мешаешь сухое с водкой. А после бредишь. Какие жильцы? Один живешь, как в дореволюционное время. Как султан живешь и недоволен."

"Как это один, спрашиваю, а старушонка, что вчера заходила? Или она стихийно вселилась, что ли, а может, ключи подделала к входным дверям?"

Посмотрел тут на меня товарищ управдом пристально и спросил тихо: "А ну-ка, ну-ка, Вавилыч?" Я и рассказал ему все, как было.

Потемнел тут с лица товарищ Савельев. Оглянулся кругом, даже вроде бы со страхом, ухватил меня за локоть и потащил в домоуправление. Вошли мы в его кабинет. Запер он двери, шторку на окне зачем-то пошевелил, а после сел и говорит мне: "Вот что, Вавилыч, дорогой. Съезжай-ка с этой квартиры, и сегодня же."

А я не понимаю: "Это как же, товарищ Савельев, выходит, репрессии, что ли?"

Качает он головой, а лицо серое, и говорит крайне тихо: "Уезжай, Вавилыч, подобру-поздорову, и тотчас же. Я тебе ребят-водопроводчиков снаряжу, помогут имущество упаковать. Грузовичок дам. Есть у меня знакомый управдом на Сенной. Комнатенка у него имеется свободная. Уступит. Он мне олифы и кровельного железа должен."

А я все еще не понимаю: "Помилуй, товарищ Савельев, да что за спешка? Или американская авиация бомбить собирается?"

"Нет, отвечает, американская авиация здесь ни при чем. А только старушка та — привидение. Так сказать, призрак от умершей натуральной старушки."

Тут уж я не удержался: "Товарищ управдом, да кто ж из нас сухое с водкой мешал, уж не ты ли?"

А Савельев уже на шепот перешел. За мой рукав хватается, глазами по сторонам косит: "Захлопни варежку, Вавилыч, и слушай. По порядку расскажу. Второй этаж во дворе припоминаешь? В центре двора, окна там еще высокие такие, нестандартные. Так вот, жила там до революции семейка одна, буржуазная. Впрочем, не только на втором этаже, полдома их было. Но проживали на втором. Все четыре квартиры занимали, одна большая была.

Я мальчонкой тогда был, помню лишь шляпы, трости и руки на тростях. В перстнях руки. Если, бывало, выше головенку поднимешь: жилетки, цепочки золотые, либо медальон промеж грудей.

Богатые люди были. Смутно помню их. Дитем был. Имена лишь остались: Серж, Аполлоний Александрович, Аделаида... Фамилия вроде как бы — Оболенские.

Так вот, после, как революция приключилась, их, известное дело, половину в расход пустили. После и остальных выселили в этот самый подвальчик. Эта старушка, помню, замечательно красивая женщина была. Уже после в бедности жила, как впрочем и все, любая собака на нее плюнуть могла, а достоинство блюла. Шито-перешито на ней, а ходила гордо, лицо каменное.

А после война грянула, блокада. И накрыла их всех та блокада. По очереди поумирали в своем подвальчике. Старушонка эта дольше всех протянула, но в конце концов тоже померла.

И вот, Вавилыч, верь не верь, весь дом об этом знает, но молчат, боятся мести вышеуказанной старушки: то пропадет она на какой-то период, а то снова объявляется. Шляется кругом, возникает неожиданно...

Я помню, как первый раз ее увидел. Слышать слышал о ней, но не видел. Думал, что все это бабьи басни. Мимо того подвальчика как-то проходил и вижу, окна светятся. Непорядок, думаю. Водопроводчики, стервы, свет оставили. Они как раз днем там трубу чинили. В окно заглянул и вижу, бабушка за столом сидит. Сразу узнал ее по рассказам и думаю, посмот-

рю, чего она делает, а потом в окошко стукну, она и сгинет, а я зайду и свет потушу. При ней зайти не решался.

А она сидит за столом и плачет. Веришь ли, плачет, как натуральная. Я даже засомневался: может, действительно реальная старушка. Плачет, сморкается, глазки тряпочкой промакивает.

И на столе перед ней какие-то вещички, дребеденька какая-то разложена. Фото пожелтевшие, альбом со стихами, с засушенными цветами. Ленточки какие-то, письма по-иностранному. Перебирает все, смотрит подолгу и слезы льет...

Как вдруг замерла ее рука на весу, она как раз какой-то медальон рассматривала. Замерла рукой и стала медленно, медленно голову подымать и как упрется бельмами мне в глаза. Лицо у нее опало, губы посинели, желтые зубья из-под губы...

Человек я не боязливый, Вавилыч, однако, как дома очутился, не помню.

Так вот, теперь бабуля на тебя глаз положила. Ты думаешь, ту сволочь милиция замела? Она это устроила. А Павлушка, думаешь, по своей воле утонул? Да я его пьяным никогда не видел. А тут: "утонул в состоянии алкогольного опьянения..." Смех. Для дураков это. Она его "утонула". Теперь твой черед..."

Савельев смолк, а я сижу растерянный. Да, думаю, в таком случае на Сенную и немедленно, а сам спрашиваю: "Мне-то чего, я уеду. А вы-то здесь остаетесь?"

"Есть средство, — прошептал Савельев, — человек один посоветовал. Они этим средством не один особняк в Питере очистили."

"А что за средство?" — полюбопытствовал я. "Тайна это, Вавилыч, не имею права сказать."

"Не доверяешь, что ли?" — обиделся я. "Доверяю, а сказать не могу. Оно, может, здесь стоит невидимое и слушает, — потыкал он в пространстве пальцем. — Мы с ребятами даже на другой конец города, в особое, тайное место ездили совещаться".

В тот же день я уехал. И поселился на Сенной.

И прошло поры-времени месяца три. Заехал я как-то на

Васильевский остров и встретил случайно товарища Савельева, бывшего управдома моего. Как раз на углу Малого проспекта и шестой линии, у пивного ларька.

Взяли мы по три пива и присели на досках, сбоку. Разговор зашел, про пятое, десятое, а после я и поинтересовался: "Как, спрашиваю, бабушка-старушка ваша поживает?" "А никак, отвечает Савельев, ликвидировали начисто."

"То есть, как это ликвидировали, — не поверил я, — когда ее ни крест, ни пуля не берет? И обхватить ее невозможно. Как ее можно ликвидировать?"

"А просто, отвечает управдом, хотя и пришлось повозиться. Надо сказать, Вавилыч, старушонка та прямо-таки разбушевалась после твоего отъезда, проходу не давала. Раньше хоть исчезала на время, а тут — бессменный часовой. И нежилой фонд, подвальный пустует. И люди через двор ходить пугаются. Группой ходили. То есть совершенно невозможно стало терпеть.

Девчонку Федоровых, может, помнишь, из пятнадцатой квартиры, напугала. Шла эта девчонка как-то из школы. Обычно с матерью или с группой жильцов шла, а тут одна. Входит в парадное и слышит шум. Приближение чего-то слышит. Вдруг видит, старуха эта самая по перилам катит, сидя, как мальчишки ездят. Со свистом, с хохотом, глаза белые, вроде бы, как в ночной рубашке, и волосы развеваются...

Короче, так напугала девчонку, что случился у нее парадокс в организме. В туалет перестала ходить. Дите дитем, самое обыкновенное. Ест, пьет, в школу ходит, а в уборную — нет. Забыла даже, как это называется.

Один из моих ребят, Яковлев Гоша, смеялся все, не мог удержаться. "Ну, говорит, товарищ Савельев, как накопится у нее до горла, вмиг тебе всю канализационную систему перегрузит. Не будет вылазить оттуда неделю, и родную речь будет учить там, и арифметику считать."

И досмеялся... Бабуля как-то, во дворе, за его плечом стала. И глянула на него своими прелестными глазками.

Теперь он каждые пять минут в туалет забегает.

Раньше, бывало, все негодовал. "Когда и когда, говорит,

товарищ управдом, переселишь меня подальше от уборной. Невозможно жить. Я, говорит, себе самые что ни на есть грузинские кушанья готовлю, с чесноком и перцем. Все равно дух перебивает."

А теперь доволен. Это, говорит, просто замечательно, когда коммунальные удобства под рукой. Всегда первый из жильцов успеваю.

Долго, Вавилыч, мы еще терпели старушкины бесчинства, долго готовились. Перво-наперво набрал я лихих ребят. Все хулиганье к делу приставил. Изучили мы все бабушкины повадки, все ее расписание до минуты. Когда приходит, когда уходит, сколько времени в нежилом фонде торчит, сколько времени плачет, сколько зубами скрежещет. Все разведали. И однажды в засаду сели. Кто промеж шкафов, кто под раковиной, кто где. Ждем. Притаились. Только Яковлев не притаился. Нельзя его было брать в засаду, хотя парень отменно смелый. Больше пяти минут не усидит.

Час ли ждем, два ли... А только слышим вдруг стук и шорох. Чуем — мертвый дух пошел, гнилью потянуло. Старушка наша явилась. Замерли мы, аж пятки вспотели.

Вот дверка скрипнула. Видим, глаза ее засветились в темноте. Бормочет что-то, всхлипывает...

Тут я тихо пальцами щелкнул. Условный знак. И Никорошев Коля, он у самого выключателя затаился, возьми, да и вруби штепсель!

Свету, доложу тебе, Вавилыч, засветилось, как в Колонном зале. Потому, как я четыре стосвечовых ввинтил. Кругом все сверкает. Портреты всего Центрального Комитета. Бюст, чей надо, в углу. Лично целый день золотом красил. По стенам знамена. Грамоты в рамках. На полках блестят футбольные призы-кубки. Красотища, не пересказать. Не узнать помещения.

Чего тут было, Вавилыч! Бабуля наша, как увидела все это, аж винтом пошла, об пол ударилась и пропала. Дым повалил, черный, вонючий, будто старые портянки сгорели. И дыра в полу прожженная. Заделали мне ее ребята после, на радостях, классно. Не различить.

А бабуля с той поры начисто исчезла.

Народ попер в красный уголок, отбоя нет. Раньше, помню, ходил по квартирам, клянчил. Хоть подпишитесь под протоколом, просил, что, мол, собрание домкома проведено, мне же отчитываться. А теперь сами и повестку дня, и голосование, и прения-выступления. Другой народ стал. Сердце радуется. Месяц назад табличку у ворот прибили — "ДОМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ". Знамя переходное вручили. Нынче, если что надо из материалов, только заикнусь, лучшего отваливают.

Так-то вот, Вавилыч. Коллективом и справились с этой заразой."

Тут пиво кончилось, и мы разошлись. Не знаю, куда пошел товарищ Савельев, а я, Витюша, прямиком дунул в писчебумажный магазин и весь Центральный Комитет закупил, в картинках. Всегда с собой теперь ношу в кармане. Верное дело.

Случится, к примеру, в дурное место зайти, пру себе без страха. Если чего, любую фотку наугад вынимаю и раз — в рожу мерзости этой, привидению то есть. Оно аж скукожится, почернеет и рассыпется искрами. Ну пора, Витюша, время позднее..."

6

Он завернулся в одеяло и, как полагается настоящему мужчине, уснул тотчас. А я не мог уснуть. Как Вавилыч заснул, так будто ушел. И я снова один. А оно, как учуяло это, и пошло подступать со всех сторон. Зашуршит, простонет, забелеется под елью. Уж я себя и корил, и стыдил, и вставал пару раз. Суковиной потыкал в белое. Ничего особенного — пень. А не проходит.

И борюсь с собой, и Вавилыча будить неловко. А не будить нельзя, потому что час от часу жутче становится.

Наконец, не выдержал, разбудил. "Дай, говорю, дорогой, пару фоток, спать не могу". Вавилыч, золотой человек, слова лишнего не вымолвил, отвалил мне половину Политбюро. Я рассовал их по карманам, а одного на грудь положил. И, представьте себе, всю ночь спал спокойно.

Феликс РОЗИНЕР

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

ЗАКАТ, РАССВЕТ, ЗАКАТ

— Понимаешь ли, Кудрявцев, — говорила она и уточками прикладывала свои ладошки к груди, — ну, напишешь ты еще один красный закат, ну еще, а сам-то ты где?

Все засмеялись, и она быстренько махнула рукой в сторону:

— Все мы так, дураки! Вот видишь, Кудрявцев? — и она опять печально обратилась ко мне. Красный отсвет из печурки играл на ее лице, почти не слушая, я смотрел и смотрел на Наташку и все думал, почему она до сих пор не живет со мной.

Вторую неделю сидели мы в Печерах, но всего два-три дня, как стал мороз — настоящий, с потрескиваньем сучьев в лесу, с капустным хрустом под ногой, с клубами пара, врывающегося в избу. Решили не уезжать. Странные наши фигуры, замотанные во что попало, то тут, то там маячили по окраинам села, разве что дети могли не пугаться, и, сколько позволял мороз, они торчали рядом с нашими этюдниками, втягивая в носы подмерзавшие сопли.

Copyright *автора.*

Была красота. Я жил и не жил. Вечерами сходились обычно у кого-нибудь из женщин и показывали дневное. Сегодня били меня, а я только улыбался тупо, молчал, оттого и били меня без злобы, потихоньку, а Наташка выговаривала с лаской и отчаяньем, и все это видели.

По избам разошлись рано, не хотели обижать хозяев. Сняв валенки, в шерстяных носках и свитере сидел я у себя, то подтапливал и подолгу что-то высматривал в огне, то ходил по пять шагов от стены до дверей и обратно.

Острое, жаркое блаженство простого бытия обступало меня, колдовские мысли роились в мозгу, тени бегали по стене. В сенях негромко стукнуло, топоча носками, я бросился к двери.

Наташка ступила через порог, и так, стоя в дверях, впуская в помещение холод, она вскинула высоко к моим плечам руки в варежках, а потом одну за другой стянула их обе зубами, запустила мерзлые пальцы под бороду мне, под свитер.

— Ой, холодно, Кудрявцев, согрей!

Она смеялась тоненько, тихо, блестели ее глаза, и иней вспыхивал на ней.

— Смотри, чего притащила!

Как вошла, так и отпрянула от меня — быстрая в движениях, маленькая, проворная. Она сильно смущалась и потому торопилась — торопилась хотя бы чуть развернуть платок, хотя бы одну только пуговку расстегнуть на шубке — лишь бы двигаться, делать что-то, не стоять, не смотреть на мое лицо — так уж, видно, глупо оно сияло и говорило больше, чем надо, смущало и мешало ей.

— Смотри-ка, что есть!

Она сдернула с локтя авоську, головы наши склонились, деловито стали мы разворачивать тетрадные странички с расплывшимися детскими фиолетовыми письменами, и половина квашеного кочана легла на клеенку.

Шелестел пергамент, в котором у меня хранилась колбаска, чуть звякнули единственные мои нож с ложкой — "Ах, беднота же ты, все-таки!" — на треть еще не выпитая водочная бутылка чудом выплыла из угла — тайно, будто те, Христо-

вых времен апостолы, начали мы вечерю и преломили хлеб над глиняной чашей.

— "Яко огнь в пещи", — сказала она и показала на грудь. Она, как я, была в свитере, но тонком, красивом, цвет его растворялся в красной игре дровяного огня. От нее не скрывалось ничто, и мой взгляд мгновенно был перехвачен, он недолгой светотенью пробежал по ее лицу, канул в глаза, исчез под опущенными ресницами.

— Вот так, Кудрявцев... Неповторимые миги, правда? Мы все дураки, я дура, и ради Бога, молчи. Это глупо нам теперь говорить. Я сама больше всех люблю потрепаться, но сейчас — ой, как не нужно!

И я мог молчать, улыбаться невнятно, смотреть на нее долго так, что она не выдерживала. Она хмыкала едва слышно, смеясь над своим смущением, а потом прикрывала глаза ладонью. Тень пала на ее щеки, я только увидел, как, меняя очертания рта, опустились вниз уголки ее удивительных губ.

Как была она молода! Как привлекала меня — и давно уже! — своим упоенным стремлением не губить живую натуру свою ради мелочных, бездушных правил бытия! Как я завидовал ей — остро и безнадежно, словно был уж старик, а она — еще только ребенок, которому жить будет после меня долго-долго...

— Одинокий волк... Ты же только бродяга без стаи, точно-точно!... — заговорила она ласково и с досадой, потому что злилась на себя за смущение и за то, что пришла ко мне. Хотела, чтобы мы стали квиты? Чтобы я почувствовал себя несчастным, и тогда бы она приласкала меня и хоть на миг поверила бы, что не я ей, а она мне нужна больше — больше всего на свете?

— Ты же видишь, Наташка, какой я несчастный! — сказал я весело, наклонился к ней ближе и, чуть касаясь пальцами ее волос, обвел руками абрис ее лица.

— Негодный ты, Кудрявцев. Негодный, бездарный, ни к чему не способный, и скульптор из тебя не вышел, бросил, и жениться не смог, только и знаешь свои красные закаты. Ах, какие же у тебя закаты, милый, смотрела бы и смотрела...

Она шептала бессвязно и радостно, голова ее покоилась у моих губ, в дальнем тихом небе кружилось время и все не могло опуститься на нас, догорали уголья, я вставал, чтобы задвинуть вьюшку и чтобы укрыться поверх одеяла Наташкиной шубкой. Не говорилось совсем, не шепталось вовсе, безраздельное диво любви увлекало нас, приближаясь и отдаляясь, чтобы мы вновь и вновь ненасытно к нему тянулись.

Полусонные, шевельнулись мы, когда уже охрой и суриком воссияло замороженное нашим дыханьем окно.

— Так пошли?

— О-о-о... Нет, нет, не подумай — люблю тебя, очень! Только, честное слово, иди без меня? Иди сам. Я же знаю, тебе сейчас хорошо одному поработать.

Верно, верно говорила Наташка! — она обнимала меня, одевшегося в изношенный, растресканный полушубок, а я уж летел впереди этюдника — не опоздать, не упустить утра, не спугнуть томного всеблагого чувства, что сегодня работа сладится — и сегодня, и завтра, и во веки веков...

В избу я прибежал много позже полудня и стоя, не раздевшись, по-собачьи стал пожирать остатки вчерашнего. От мороза, от хорошей усталости, от голода и от жажды я рычал и причавкивал, и крошки вместе с подтаявшими сосульками падали с бороды.

— А, явился?! Кудрявцев, Наташку увозят! — крикнул кто-то из наших, ворвавшись снаружи, тенью мелькнув в клубах пара, грохоча и скрываясь.

Я выбежал вслед. Наташка стояла в светлой шубке и белом платке, солнце круто скатывалось с небес, конь вороной о четырех ногах стоял запряженный в широкие сани, и от крепких его непородистых ног шли по снегу четыре косые зеленые тени. Уж, казалось, Наташка готова была завалиться на мягкое сено, наклонилась, чтобы запахнуться получше, да так и держась за короткие полы, обернула ко мне лицо.

— Катись, — произнесла она отчетливо, и сухой веселостью зазвенел ее голос. — Сам катись, не поеду! — сказала Наташка с неизвестной мне наглостью, глядя прямо в мои глаза.

Какой-то человек, подбежавший справа, неловко схватил ее под руку чуть повыше локтя.

— Нет, катись! — вскрикнула Наташка, вырываясь. Ногой она задела стойку саней и упала на снег — не больно, конечно, но мне-то как раз!

У возницы я выдернул кнутик и, взмахнув, свистанул. Почти весь мой удар утонул в цигейковом воротнике, только гулом ответила твердая на морозе, блестящая поверхность кожанки.

— Наталья? — спросил человек беспомощно и помог ей подняться. Но она отпрянула от него и замерла молча.

Он смотрел на меня — приятный, здоровый мужчина в капитанской фуражке и теплой кожанке — высокий, косая сажень в плечах, добрый молодец. Да ведь и я не хожу в недомерках!

Полукругом стояли все наши — близко, метрах в полутора.

— Ну, хорошо. Оставайся до пятого. Т-вор-ческие раб-ботнички!.. — с расстановкой произнес, наконец капитан и, ничуть не смущаясь женщин, со вкусом выматерился.

Чемоданчик Наташкин появился у ее ног, капитан не мешкая сел в сани, но ехать было нельзя: в это время стала мочиться лошадь, и возница хотел ее обождать. Ждали все мы и бесстрастно глядели на лошадь, на ее худощавое брюхо, на снег, который дымился и кипел под ней желтизной...

Сани отъехали далеко-далеко, когда Наташка закричала: "Счастливого плаванья!" — и залилась хохотом. С визгом все разом повалились друг на друга, снежки пошли в ход, и орава наша зарезвилась посреди села, презрев тишину и здешние строгие нравы.

— Кудрявцев, пропустишь закат! — кричали мне. Я улыбался в ответ, махнул два раза рукой, только все ж незаметно удрал и торчал на опушке до темноты, мерз, мурлыкал и портил картоны...

Поздней ночью я говорил с нею долго, был серьезен и строг перед собой, но она отвечала одно:

— Понимаешь ли, милый, я же тебя люблю, не его. Я не вру, не кривляюсь. Все как есть, так и есть, и как будет — так будет.

Сашке пять, он мальчишка дрянной, ведь останься с тобой — захочу от тебя, второго. Да молчи, знаю, знаю... "Согласен хоть завтра!" А холсты? — Она приподнялась на локте. — Не понятно? Да пускай не мои, да твои же, дурачок, холсты и картоны, твои же закаты. Пусть он благополучный, верно, от него получаю благо, — раздельно сказала она, — он дает мне работать, он плавает где-то в Дальрыбе, и что мне за дело?... Как это? Материальное благо? Вот, вот, оно самое. Ты обходишься без него, для тебя это лучше. А вдвоем пропадем, так и знай. Да плевать я хотела, что он мне чужой, что не смыслит нисколько и работы мои не смотрит. Он же дарит мне мою живопись, дарит, как блажь, как брошки и кольца дарят капризной женщине — лишь бы не бросала. Мне все равно... Я люблю тебя, милый, и поверь мне, так лучше. Или оба мы пропадем, дурачок, понимаешь?

Она, конечно, была права. Нам оставалась ночь — та, прошлая, и эта, что шла мимо нас, оставались другие, Бог весть где обитающие среди зимних полей и лесов, среди сел с утопающими в снегах окраинами, над которыми плавают вечерами красные, к морозу, закаты.

Я еще долго писал закаты. Бывает, кое-кому я показываю эту серию и тогда расставляю свои "Красные закаты" на полу вдоль пустых стен своей комнаты. Но один из картонов я всегда убираю: на этюде рассвет, да и тот удачен ли — не знаю.

1968 г.

"ИНФАНТА И ПАЖ"

— А вот у меня было недавно, — сказал Блюмкин.

Стали слушать. Они сидели среди дня в "Будапеште" за длинным столиком в стороне, у окна — восемь мужчин, вся их проектно-монтажная группа. Неожиданно дали премию — так, ерунду, сто рублей. Если делить с учетом должностей, кому-то всего по пятерке достанется, оскорбительно мало; а раздать поровну, по десятке на брата — тоже вроде бы глупо. "Может, пойдем сейчас посидим все вместе?" — осторожно

спросили у шефа. Тот, радуясь, что избавится таким образом от терзаний над премиальным листом, легко согласился.

Уже была на столе не одна пустая бутылка, среди неопрятно разбросанных по тарелкам кусков мяса лениво раскапывали то огурчик, то листик салата, говорили между собой уже громко и черт знает о чем. Постепенно речи перешли на женщин, и каждый что-то такое вспоминал, от чего хохотали и снова начинали подливать в рюмки.

Блюмкин среди прочих был интеллигент. Если кому нравилась эстрада, ему — джаз; если кто читал детективы, то он — только на английском. Ну и другое многое было, что заставило остальных слушать, когда Блюмкин, тонко улыбнувшись как бы самому себе, своим всплывшим из памяти воспоминаниям, приступил к рассказу.

— Я ведь нумизмат, вы знаете, — начал он. — Так вот, случилась у меня, прямо сказать, нумизматическая любовь, ни меньше, ни больше.

— Ну, Толя, даешь! — вставил кто-то вовсе без соображения, но на него посмотрели молча и дальше Блюмкину старались не мешать.

— У меня и монеты, и боны, я ж кое-что приносил на работу, показывал. Ну, а мечта каждого такого психа, как я,— это, знаете, достать что-нибудь такое в коллекцию, что-нибудь особенное, чтобы все потом говорили: мол, у Блюмкина, слыхали, что есть? А у меня, честно, коллекция, не скажу — плохая, ничего собрание, на уровне; но чтобы такое особенное, супер-экстра — такого не было, честно.

Вы меня, помните, Николай Сергеич? — послали как-то на Зинчинский комбинат, на наладку? Ну, приехал. Зинчино это — деревня-деревней, село. Зима, в снегу все утопло. Тоска, березки да плетни. А считается районный центр. Где жить? В дом колхозника пришел — там холод под потолком аж туманом стоит. А, думаю, сниму у какой бабки. Нашел. Избушка в две комнатки. Как войдешь из сеней — кухонька с печкой напротив, а по сторонам, вправо и влево — по двери. Бабка говорит: "Будешь в одной комнате со мной ночевать?

В той у меня молодая учителка школьная живет." Ну, чего ржете? Дальше слушайте.

Хожу, значит, на комбинат этак с неделю уже. Вечерами никуда не денешься, сразу домой иду. Скидываю я в этой самой не то кухоньке, не то прихожей пальто, и получается так, что и другая квартирантка — учительница со второй смены прибегает. "Здрасьте" — "здрасьте", то да се... Мордашка миленькая, фигурка под свитерочком — поглядеть можно, в общем, в порядке девочка, и не дурочка, это точно. Ну, сами понимаете, как бывает: "У вас чайник?" — "Ах, простите! Пожалуйста!" — "Что же вы без заварки, один кипяток? Я вам сейчас своей принесу!" У меня московская колбаска, а ей кто-то из школьных родительниц шанежки принес. Бабка там себе дышит под образами, мы тихонько за столом чаек, значит, попиваем. Потом, понятно, вопросы — кто, что, как время проводите, книжки какие читаете? А у меня книжонки на английском на стуле лежат возле койки. "Ах, говорит, на инглиш! Я совсем уже забыла язык, только и повторяю, что в школьных учебниках. А это что у вас? "Дзе прайс лист" — что это такое?" А мне перед самым отъездом достали прейскурант европейских денег девятнадцатого века. "Это, говорю, всякая нумизматика и бонистика, вам неинтересно." Она хмыкнула, полистала и положила на стул.

Дня через два прихожу с работы, она как раз в прихожей раздевается. Открывает свой портфельчик и из тетрадочки, за уголочек, вытягивает серую бумажку. Я, знаете, окоченел на месте. "Это вы откуда, говорю, такое чудо?" Она смеется: "Из школы, я их там держу в качестве наглядного пособия."

А бумажка у нее в руке — это была купюра княжества Андорра выпуска 1853 года. Сохранность потрясающая, ни одного сгиба, края ровные. Уникальная вещь, я это знал. У купюры особое название существует даже, оно и специалистам и любителям известно: "Инфанта и паж". Там картинка такая изображена — маленькая принцесса в пышненьком платьице стоит и опирается ручкой о край столика, а за столиком, отставив ногу, сидит мальчик-паж, у него в руке гусиное перо, и он смотрит на принцессу, как будто записывает под ее дик-

товку. Какой-то был исторический эпизод, когда испанская инфанта издала очень умный указ насчет этой самой Андорры.

Ну, а соседка моя, пока я в обалдении стою, вынимает из тетрадочек еще бумаги и еще... Конечно, таких экземпляров больше не появлялось — она меня сразу по голове стукнула, а теперь только добивала. Но и среди остальных были ценные боны — и европейские, и наши времен революции — всякие там екатеринбургские, одесские, житомирские дензнаки, керенки и лимоны. Я хватаюсь за них, разглядываю, охаю, а она подсмеивается. "Откуда ж такое богатство?" — спрашиваю. — "Богатство? Я им не дорожу. Могу вам подарить, хотите?" — "Мне подарить?! Да вы что? Просто так?" — "Н-ну-у" — тянет она с таким это кокетством наигранным, и вдруг на манер — знаете? — купца Мизгиря из оперы "Снегурочка" Островского и запела, изобразила, как будто она басом поет:

"Возьми-и ты э-этот же-емчуг,
А-а мне-е лю-у-бовь от-дай!"

Басом-то горло себе напершила, не то закашлялась, не то засмеялась, порозовела — и в свою комнату. А я в свою. Сижу над бумажками, так и эдак перекладываю, думаю: хрен ее знает, дурачит она меня или вправду подарить хочет?

Ночью слышу — бабка храпит во всю, а во мне взыграло. Что она там про любовь-то пела, ведь лежит за десять шагов от меня — молоденькая, симпатичная, в рубашоночке какой-нибудь — кружева, понимаешь, капрон-нейлон, а сквозь рубашечку все просвечивает. Так и вижу, что вот уж я у нее там, рядышком, коленку на коленку ложу — аж зубами скрипеть охота. Что ж, думаю, теряться, не мужик я, что ли? Приготовился я, — что-то вроде вступительного слова сочинил — так и так, вы мне про жемчуг пели и про любовь, вот я и... Встал — и к дверям. Там и открывать-то не надо — дверей-то и нет, только проемы, и гардинки на них висят. Ну, вхожу, значит. Какие там слова! — она тоже лежит, чуть ли не слышно, как у нее сердце колотится, грудь вся ходит — рукой шевельнула,

одеяло откинула, приглашает, значит, ложись, не мерзни зря. И — налюбились в свою радость! Назавтра — опять до утра. У нее круги фиолетовые под глазами не сходят, пудрит перед школой, да и я, уж простите, Николай Сергеич, на работе ни хрена делать не могу. Так и живем в лихорадке с неделю. А бабка-то — во старуха какая! — ворчит: "Окобелились? Давно бы уж, меня чего стесняться."

В общем, вкалывал я за свои купюры, как план в конце года. (Эти слова Блюмкина были встречены одобрительным хохотом). Спрашиваю как-то: "Объясни, как это ты все устроила — позвала меня и все такое?" — "А что, — говорит, — непонятно? Живу здесь второй год монахиней, повеситься можно. Ухаживают за мной, пристают, а один даже всерьез влюбился, хочет жениться. Вот мне и страшно: а вдруг надоест мне и выскочу замуж за этого счетовода? Ох, не представляешь, какие у них физиономии, когда целоваться лезут! А разговор, а одеваются? Сдохнешь! И представь — ведь облапит кто-нибудь однажды — я девка, сам видишь, не холодная — вот и влипнешь, не развяжешься с местными." Прижалась ко мне полюбовнее, понежнее и говорит: "А ты мне понравился. Я по московскому стилю ужас как соскучилась. Вот и решила: соблазню-ка я его. И соблазнила. Ты только, — говорит, — не ври, что не поглядывал на меня. Поглядывал, но боялся. И я боялась. А подвернулся этот твой прейскурант, я сразу и осмелела. Вроде бы само собой все получилось, на шуточке и на общем интересе." — "Откуда ж у тебя боны?" — спрашиваю. — "Э, тут, говорит, молчи. Не твое дело. Любовь была, ясно? Для него готовила, собирала." — "Что, бросил тебя?" — "Дурак ты. Умер."

Ну, я и прикусил язык.

Скоро мне уезжать. Налюбовался я на бумажки, хотел ей отдавать — она ни в какую: твои — и все тут. И, казалось мне, собиралась она что-то сказать... В общем-то, хоть и устали мы от любви, и уж голода особенного не было ни у нее, ни у меня, можно было расстаться, а все-таки я понимал, что вспоминать буду, просто так не разойдемся. Может, адрес хотела? Но я

адрес оставил, она обрадовалась, а все равно — все какая-то недомолвка осталась. Так я и не понял, в чем было дело.

В Москву приехал, пошел в библиотеку в Ленинскую поднабраться сведений насчет своих новых приобретений. Там в одном ежегоднике коллекционеров натолкнулся в разделе новостей на такое сообщение: "В известном собрании профессора Желоховского появилась еще одна редкость: стофранковая купюра княжества Андорра 1853 года, известная под названием "Инфанта и паж". Купюра за номером 00386 отличается превосходной сохранностью." Смотрю на свою — тот же номер! Понимаете, что это значит? Купюра была у профессора, и об этом весь мир знает, а то, что она у меня и как она ко мне попала, это уж никому не известно! Черт его знает, а вдруг ее у него сперли? В мире коллекционеров всякое бывает, могут и посадить. Скажем, тебе продали картину, а ты вдруг узнаешь, что за год до того она висела на стене в Третьяковке, — как, весело будет?

Я, понятное дело, перетрухал, потом стал осторожно действовать. Узнал, что профессор Желоховский — историк, разыскал окольными путями его адрес и отправился. Решил так: скажусь коллекционером, попрошу разрешения посмотреть его собрание, а в удобный момент спрошу про "Инфанту", — мол, читал о ней, хотелось бы увидеть. А там, если что, — верну ему купюру, пропади она пропадом, свобода — она дороже, верно?

Открыла мне женщина — старая, но молодится, вся в креме, подмазана, волосы крашеные. Судя по всему, жена старика. "Можно, говорю, видеть профессора?" Она внимательно меня разглядывает, спрашивает, кто я буду, Называю себя, объясняю, зачем пришел. "Пройдемте, говорит, в кабинет." В кабинет — так в кабинет. Сели. Она молчит. Я тоже. Оглядываюсь, жду профессора. Тут старуха и говорит: "Мой муж скончался два года назад, вы, конечно, этого не знали." Вот и представьте мое положение: к покойнику пришел в гости. Вскочил, стал извиняться, а она: "Ничего, ничего. Коллекцию могу вам показать, он любил, когда его собранием интересовались". Я, натурально, благодарю, отказываюсь, — вам это

тяжело будет, говорю, — но она взяла с полки альбомы, раскрыла. Смотрю, ахаю, цокаю языком и стараюсь показать, что смыслю в этом деле: называю даты, страны, лупу из кармана вытащил, пинцет. Это на нее впечатление произвело. "Вы, я вижу, знающий коллекционер, говорит. Посоветуйте, что мне сделать с коллекцией." Тут я целую речь произнес. И сказал так: вы ее продайте. Главное, ни в коем случае не отдавайте в музей или в библиотеку. Музей, скорее всего, выберет из коллекции кое-что, заплатит мало, а в библиотеках никто в этих делах не разбирается, там все растащат без присмотра. Лучше продайте хорошему коллекционеру. Хотя, говорю, вы зря начали распродавать по частям, нельзя разъединять такое собрание. "Как? — удивляется. — Я ничего не продавала, муж запретил мне это делать." — "Простите, говорю, а где ж тогда "Инфанта и паж"?" — Ловко это у меня получилось, а? — "Ах, вот вы о чем! Это очень неприятная для меня история. Но чтобы у вас не было впечатления, что я действительно плохо распорядилась после смерти мужа... Прошу вас, молодой человек, пройдемте в столовую, я приготовлю кофе, и мы спокойно поговорим." Чувствую, и старухе от меня что-то нужно. Пьем, значит, кофе, и вот что она рассказывает.

За старым профессором — чистая душа, сизый голубочек — стала бегать студентка. Студентку профессорша, понятное дело, поносила, как могла, но сущность была такая: студентка притворялась, что влюблена в профессора, и влюбляла его в себя. Она разыгрывала всю комедию только для того, чтобы опозорить заслуженного, уважаемого пожилого человека. Представляете, говорила старуха, что было бы, если бы он на старости лет бросил жену ради этой вертихвостки? Ей нужно было после окончания университета остаться в Москве, она хотела воспользоваться его именем, чтобы сделать легкую карьеру в науке. Она не из тех женщин, как я, кто мог бы принести в жертву все — и молодость, и здоровье, и успех — ради близкого человека. Она бы его убила... И конечно, сердечные приступы у него участились по ее вине.

Ну, Бог с ней, со старухой, если все пересказывать — это тоска будет, я сам с трудом слушал, что она несла. Но мне-то

ясно было одно: и что девка на самом деле была влюблена, и что профессор ее любил — уж как там он ее любил, платонически или натурально, — это я не знаю. Короче, что же с купюрой. За студенткой ухаживали многие — и университетские, и еще, через студентов института международных отношений, познакомилась она с молодыми дипломатами. С кем там она спала, неизвестно, — старуха говорила, что девица спала со всеми подряд, — и у них у всех она просила одно: чтобы вместо обычных любовных подношений ей разыскивали старые банкноты. Как она сама рассказала, "инфанту" ей подарил французский или итальянский атташе, которого она обворожила на каком-то приеме. Все свои приобретения девчонка тащила профессору, а тот радовался, как ребенок, когда появлялось что-то интересное. А от "инфанты" старик и вовсе с ума спятил, и если бы жена не открыла ему глаза и не сказала, что за каждую бумажку его подруга, которая во внучки ему годится, спит всякий раз с другим мужиком, то неизвестно, чем бы все кончилось. Был большой скандал, девчонка рыдала, старик потребовал от нее клятвы верности — и надо же — эта лицемерка сказала, что если он хочет, она в знак любви достанет яд и покончит с собой, прямо как Джульетта. Бедняга-профессор так был ею обманут, что захотел присоединиться к ней, как Ромео, а ее, свою жену, впервые в жизни назвал ведьмой.

Тут, как я догадываюсь, старика и хватил последний сердечный приступ. Он прожил четыре дня после приступа и успел жене дать всякие распоряжения насчет своих трудов, его научной библиотеки и также насчет коллекции. Он велел коллекцию отдать какому-нибудь собирателю. "Видите, молодой человек, — сказала старуха, — вы как будто слово в слово повторили то, что он говорил мне про музеи и библиотеки. И еще он не велел отдавать коллекцию старикам — "волкам", как он их называл. Эти люди, по его словам, заражены стяжательством. И им, как и ему, все равно осталось мало жить, и, значит, коллекция тоже долго не просуществует." Тут старуха замолчала и как-то странно посмотрела на меня. Я согласился, что все это очень разумно, а потом напомнил ей:

где же все-таки "Инфанта и паж"? — "Ах да, забыла сказать: профессор велел все те купюры, которые дарила ему эта женщина, вернуть ей. Он держал их отдельно от остального собрания. И я выполнила его волю — я швырнула ей этот пакет, когда она осмелилась приблизиться к его смертному одру. И уж. конечно, я сделала так, чтобы ее услали далеко в глухомань."

Что ж еще досказать? Самое неожиданное: старуха снова пригласила меня в кабинет, стала рыться в бумагах, нашла какую-то и протянула мне: "Впишите, говорит, свою фамилию, а внизу мы вместе с вами распишемся." Не поверите, ребята, — это была дарственная на коллекцию. Она бумагу заготовила давно, а все ждала, кому подарить. Само собой, я забормотал, что не достоин, ручку у нее поцеловал, но не отказался.

Вот теперь у меня все соединилось — и "Инфанта" и собрание профессора. Нальете мне? Пересохло от разговора.

Ему налили, он выпил.

— А учителка-то, учителка? — поинтересовался кто-то.

Блюмкин усмехнулся.

— Да вот, к шести пойду поезд встречать на Казанском. Отработала она в Зинчино. Может, жениться мне, а? Как-никак, скоро тридцать.

Все взволнованно заговорили, застучали рюмками: стали пить за счастье Блюмкина.

— Не, не,— пьяно мотал головой расчувствовавшийся Блюмкин. Он как-то мгновенно сник, будто из него выпустили воздух. — Мне на ней прямо там надо было жениться, в Зинчино. Как началось, так сразу не упускать момента. Честно! Так хотелось ей оттуда вырваться! Увез бы ее. В этих делах антракты в полтора года не бывают. Да еще в самом начале. А тут, в Москве, у нее вон какой выбор — дипломаты, докторы, мать их... Куда мимо их с инженерным-то рылом?..

Собутыльники разом откликнулись на последнюю фразу Блюмкина: инженерам, действительно, в этом подлючем мире приходится хуже всех.

— Вот я, к примеру, получаю сколько? — вопросил один из них.

И общим вниманием завладела уже эта, живо задевшая каждого новая тема.

Блюмкин встал и пошел в вестибюль, будто бы по нужде. Но вышел он на улицу и отправился вверх по Петровке, к бульварам. Воздух незаметно трезвил его.

Опять я за свое, думал Блюмкин. Ну, ездил в Зинчино, ну, переспал со старухиной дочкой — ей уж под сорок, тоска без мужика, подлегла к нему ночью, а на следующий день сам же он и сбежал. Нумизматика-бонистика! Какую-то инфанту с пажом изобразил!.. Сроду такой банкноты не было, и как только в голову прилезло! Да и вообще, пустое это все, — есть у него штук двадцать монет, на базарчике в Центральном парке их и показать стыдно. Эх, романтик я, романтик, люблю красивое!

На Петровском бульваре стал он было кадриться к девушке, но неосторожно дыхнул перегаром, и она ускорила шаги.

1973 г.

В ДЕСЯТЬ, В ДВЕНАДЦАТЬ, В ЧЕТЫРНАДЦАТЬ...

Посвящается Юле С.

1

В 10 часов утра Аида Борисовна, бухгалтер мелкооптовой конторы, помещавшейся в сыром полуподвальчике на далеком краю одного из тех закоулистых дворов, каких великое множество между Лубянской и ГУМом, — Аида Борисовна, а точнее Ида, потому что была она в паспорте Идой и с детских лет бесчисленными родственницами прозывалась Идулей, но с той поры, как еще во времена девичества почувствовала, что мужчины ее имя воспринимают с некоторым, как бы сказать, смущением, что ли, и называть ее, полную, громкоголосую и часто некстати хохочущую брюнетку Идой им, мужчинам, бывает не слишком удобно, она стала Аидой, что к ней удивительно удачно подошло, ну и позже, даже много позже, когда помада на ее губах — всегда яркоалая, положенная жирным слоем, — перестала выглядеть экстравагантно и часто оказывалась размазанной, когда она принялась интенсивно окрашивать свои волосы — достаточно нерегулярно, так что у корней обычно был виден серый просвет, — когда чулок под коленом мог целый день незамеченно ею морщить и когда одна и та же вязаная кофта с сатиновыми налокотниками не снималась всю осень и зиму, — то есть даже теперь, когда женщине было весьма и весьма за сорок, называли ее не иначе, как только — Аида, а про отчество никто и не вспоминал, — так вот, Ида — Идуля — Аида — Аида Борисовна, бухгалтер мелкооптовой конторы, ушла с рабочего места утром, в 10 часов, потому что страшно задергал зуб.

Несколько раз она вскрикнула от пронзительной боли, и ее главный, Герман Орестович, произнес назидательно:

— До нерва довели. Бескультурье.

— Подите к черту! — со злостью сказала Аида. — Это вы довели, трус несчастный! Гнием в проклятом подвале, а вы боитесь надавить на управление!

— Давил, — невозмутимо ответил Герман Орестович. — А вы при коллективе зря. Так нельзя.

Коллективом, кроме них двоих, проработавших бок о бок двадцать лет, были еще две женщины да девчонка-машинистка.

— Плевала я на ваш коллек... А-а-а! — взвыла при новой игольчатой боли Аида, и коллектив, сострадая несчастной, понимая всем сердцем, что тут не только на коллектив, а на весь Божий свет наплюешь, загалдел вперебой:

— Уходите, Аида! С ума сошли! С острой болью! Вас без очереди! Идите, идите, тут рядом, где мы прикрепленные! Прямо талончик просите — с острой болью без очереди обязанные!

— Сегодня можете не возвращаться, — сказал главный вослед.

— И не подумаю! — кинула Аида из дверей. — Господи, как мне все надоело!

2

В 10 часов Аида Борисовна вышла из конторы, дошла пешком до поликлиники и увидала, что у гардероба стоит длинный хвост: на вешалке не было мест, но к регистратуре в пальто пройти не давали — горластая старуха преграждала коридорчик и напирала животом на нарушителей:

— В верхней одежде, сказано вам! А мне какое дело, с температурой аль нет — раздевайси!

— Подыхать на вашей вешалке, что ли? — орал верзила с лихорадочными глазами. — Двадцать минут стою по часам!

— И подыхай, подыхай! — согласилась старуха и быстро подняла свой локоть, на который Аида и натолкнулась. — Куды, куды?

Тогда, бормоча "ну, люди, ну, люди", Аида размотала шарф, выпросталась из рукавов и пристроила пальто на узком подоконнике.

— Украдут — не отвечаю! — предупредила гардеробщица.

— А я вас не прошу! Хоть сами крадите! — огрызнулась Аида, чувствуя, что говорит какую-то глупость. Но дерганья в зубе, которые все учащались, туманили ей сознание. Она оттолкнула старуху, подошла к регистратуре и очутилась в плотной толпе, осаждавшей единственное окошко.

— К зубному! — начала она. — Пропустите, я...

— К зубному! — ехидно повторили рядом. — Все к зубному.

— А я с острой болью! — продолжила она, как заведенная.

— Все с острой болью! — ответили ей.

— Издеваетесь, да? — повернулась Аида. — Наглый мужчина! Наглый!

— Что вы говорите? Я — наглый? А вы кто?

— Хамка! — сказала какая-то женщина.

— Не лезьте! Что, лучше других? Отойдите! — поднялся единодушный гомон, Аиду толкнули, кто-то схватился за ручку хозяйственной сумки и потянул назад. Но тут Аида завыла: сквозь череп ее стал винтиться такой раздирающий штопор, что она отпустила сумку и начала оседать на корточки, сползая вдоль стены.

— А не притворяется? — донеслось до нее.

— Пусть прямо идет! Без талончика примут! Без талончика! — заговорили доброжелатели.

Ее приподняли под локти, вручили сумку, Аида поплелась, придерживая щеку и тихо постанывая.

У входа в кабинет ее остановили. Таких, как она, с острой болью, здесь было еще три страдальца. Остальные глядели на них со страхом и, может, с сочувствием, но едва открывалась дверь, все в едином порыве бросались к сестре, убеждая, доказывая, умоляя и требуя. Аида твердила: "Я с острой болью! Примите! Я — с острой, я — с нервом!"

— Примем, — говорила сестра; кто-то, избранный ею, продавливался в кабинет, и дверь захлопывалась.

Аида раскачивалась на стуле, вздрагивала и охала, вскакивала, как все, при появлении сестры, пока та, наконец обратив на нее свой взор, не объявила:

— У врача на сегодня лимит с острой болью окончился.

— Как!? — завопила Аида. — Я час просидела! Да я не уйду!

— Не скандальте!

— Не имеете права! Впустите меня! Вы!..

— Гражданка, вы что? — растерялась сестра на мгновенье.

— Вот то!.. Расфуфыренная! — прошипела в лицо ей Аида и шагнула мимо оторопевшей сестры в кабинет.

— Боже мой, дня без скандала не пройдет! — сказала врач, сидевшая перед свободным креслом. — Явление. Ну, проходите, проходите. Что у вас?

— Шестой справа внизу, доктор. Может, удалить?

— Обойдитесь-ка без советов. Шире рот!

3

В 12 с лишним Аида Борисовна вышла из поликлиники. Самым отвратительным было то, что после всех сегодняшних мучений такие же, если не большие, предстояли ей впереди. На зуб наложили мышьяк, и боль уже отпускала. Но сколько раз придется ходить в поликлинику? По скольку придется высиживать там, выматывать себе нервы? А квартальный

баланс? Кто его сделает? Пушкин? Значит, задерживаться вечерами? Господи, ох, до чего надоело!..

Она решила, что поедет сейчас домой, в свое Зюзино, вымоется под душем, возьмет "Королеву Марго" и ляжет в кровать и будет читать до вечера, а вечером будет смотреть телевизор, только надо купить себе что-то поесть, потому что захочется вечером есть, а в доме шаром покати, кажется, пара яиц на утро — и все, и Аида направилась к магазину, да нет уж — день выдался ей одно к одному, — налетела как раз на пьяненького у дверей мужичка: "обед у нас, кралечка, видишь, обед" — "какая тебе я кралечка, без двадцати еще, пусти!" — "кралечка, отойди, вишь, люди выходят, мешаешь!" — "черт пьяный, тьфу!" — обозлилась Аида, подскочила еще к одному продовольственному, но и его закрывали, она хотела махнуть рукой, доехать до своих Черемушек и зайти в какой-нибудь тамошний магазин, — но опять получалось по времени, что двух еще не будет, придется ждать, и Аида пошла пока в ГУМ, потолкаться там, посмотреть только, чтобы не соблазниться вдруг, потому что всего-то осталось рублей, может, семь, даже два трояка и копейки, помнит она, до получки, и если что-нибудь купит, даже пустячное, то не дотянет, но она купила — купила, дура, не удержалась, лак для волос, ну вот так вот, увидела и купила, дрянной, она знала, паршивый, вонючий лак, всего за два рубля — какой он может быть, за два рубля отечественный лак, если импортный стоит и пять, и семь — те самые семь, которые были в обрез до получки, теперь же вот срезала с них два рубля — а зачем? — вот и дура, и дура! — и стало Аиде тошно: купила она этот лак, растратила деньги, все идет у нее по-глупому и по-чудному, и зуб ее ноет, и надо купить колбасы хоть бы, что ли, к чаю! — да, чай-то, надо же, чуть не забыла!

В том же ГУМе выбила в кассе за колбасу, встала в очередь и обнаружила, что простоит она минут сорок, не меньше, да тут еще слух прошел, что кончается докторская по два тридцать, а будет только отдельная по два двадцать, которой Аида и в рот-то взять не могла, — что за день у нее в самом деле сегодня!

— Все приезжие, все приезжие, — рассуждали в очереди. — Понаехали, всю Москву обобрали. Если б не приезжие, не стояли бы. Все было бы свободно.

— Уж свободно... — проворчала Аида без особого желания вмешаться, просто оттого, что тошно ей было — тошно слышать общие глупости.

— А что же не свободно? Их миллион в день приезжает, — возразили ей.

— Глупости вы, гражданин, говорите! — ответила Аида, и вдруг ее прорвало. — Свободно! Где свободно? Я в своем Зюзине после работы шиш чего куплю, понятно? Какие в Зюзине приезжие? За мясом стой, когда ухватишь, молоко то есть, то нет, картошки нету нигде. А на периферии, командированные приезжают к нам за заказами, вовсе ничего, нигде ничего, понятно? Вот и едут! Глупости! Молчали бы, гражданин!

Но тут ей сказали: "Гражданка..." И она умолкла на полуслове. Что-то было... повеяло чем-то таким... было что-то такое в этом, как было оно произнесено, это "гражданка", такое значительное, как мороз, как начальник из главка и некое воспоминание — очень далекое детство без папы, когда говорили ей "тише, Идуля, тише", когда она спрашивала у теток, где ее папа, а папа ее уехал — уехал и никогда не приехал, до самого этого слова, которое ре-нереа-а-реальное-билитация, и при этом как будто приехал — как будто, но не приехал, так как приехал он одновременно с посмертно, и тут рассказали, ей все рассказали, как папа в столовой сказал, а к нему подошли и сказали, а все, кто вокруг, ничего не сказали, и это понятно, нельзя же сказать, вот глупый твой папа сказал и уехал, посмертно приехал, и снова сейчас посмертно приехал при слове "Гражданка..."

Человек, пальто и шляпа, кивнул в сторонку, взял двумя пальцами за рукав и потянул из очереди.

— Чего? — чуть слышно пискнула Аида.

— Спокойно, гражданка, выйдете со мной.

Тише, Идуля, тише. Подошел еще один, Аиду под локоток направили прямо по линии ГУМа и наискосок, в закуток, и в

дверцу, и в комнатку — очень накуренную, до одури, и предложили сесть. Предложили ей сесть, обождать, — сейчас с вами поговорят.

4

В 14 часов Аида Борисовна — точнее, Ида Борисовна, потому что была она в паспорте Ида Борисовна, а у нее потребовали паспорт, который они изучили и переписали, запомнили, правда, не Иду Борисовну, только фамилию и говорили "гражданка Браер": вы, говорили, гражданка Браер, задержаны во время, как распространяли слухи, которые возбуждают у граждан неоснованные разговоры, наносят вред в период, когда трудящиеся должны трудиться спокойно на производстве, быть на местах, а вы, гражданка Браер, мы должны выяснить, вы почему, как утверждаете, бухгалтер, а не работаете сейчас, в середине рабочего дня, даже если заболевание, нужно иметь при себе больничный, а вы не имеете и распространяете слухи, которые без основания, и можете за это быть привлечены, хоть вы и извиняетесь, это к закону без отношения, соответственно вот что, гражданка Браер, мы вас зарегистрируем и предупреждаем на первый случай, возвращайтесь на производство и запомните, как в общественном месте надлежит вести, надо самим пресекать, а не заниматься злостным распространением, пока вы свободны, гражданка Браер, дверь от себя, — в 14 часов Аида Борисовна вышла из ГУМа и почувствовала невозможный голод. Во рту образовывалась отвратительная слюна, которая смешивалась со вкусом и запахом временной пломбы, из которой что-то сочилось. Аида чуть ли не бегом добралась до ближайшей закусочной, — как всегда, в стоячей этой забегаловке было полным-полно, и пришлось томиться от самого входа в медленной, плотной массе, перемещавшейся к раздаче. "Черти собачьи!" — ругалась Аида, и разумеется, не вслух, и, разумеется, не думая вовсе, к кому ее черти собачьи были обращены, — к тем ли, в комнате, где с ней беседовали, или к тем, что стояли сейчас толпой перед ней и не давали поесть, проклятые черти собачьи! И Аида совсем

одурела, когда получила на свой поднос бульон с фрикадельками, пару котлеток с гречкой и компот. Она расплатилась у кассы, закинула сумку на руку, и потащила, торопясь, свой поднос к столу, ища глазами свободное место. Сгрузив еду с подноса на стол, она сообразила, что забыла взять ложку и вилку, поставила сумку на пол, пошла опять к раздаче, взяла одну только ложку, так как не было вилок, отправилась к мойке, где уже несколько человек стояли в ожидании, пока подадут им чистые вилки, и, едва их, мокрые, горячие, осклизлые вынесли в зал, выхватила себе одну, подбежала к столу и увидела, что худощавый, с темной круглой головкой негр ест ее суп.

Аида посмотрела на негра, а негр посмотрел на нее, откусил кусок ее хлеба, снова на нее взглянул и продолжил — быстро-быстро, ложка за ложкой — продолжил, стало быть, ее суп. Черт проклятый собачий! Аида так обозлилась, что ее аж расперло. Жрет. Гад какой. Смотрит и жрет, чтоб ты подавился, крашеный! Понаехали!..

Тут, при влетевшем ей в голову слове — именно "понаехали" — Аида опомнилась. В сознании ярким мельканьем, будто в кино, проскочила очередь в ГУМе вместе со сказанным ей "гражданка..."

Пес с ним, сказала себе Аида, пусть жрет мою фрикадельку, еще нехватало с негром связаться. Бульон, черт с ним, пускай сожрет, но второе-то хоть свое надо съесть, пока он к нему не добрался, гадина!

Приняв такое решение, Аида победоносно посмотрела на негра, одним движением придвинула котлеты и, опять дурея от голода, стала жадно поедать еле теплое блюдо. Отрывая глаза от тарелки, она видела, что негр на нее косит своими белками. Боится, что ли, что она скандал подымет? Да жри, жри, ешь, если ты голодный, не дай Бог еще с негром... Внезапно у нее прорезалась мысль: а что, если... ей его — подослали? Этого негра? Только и ждут, что она чего-нибудь скажет?! У Аиды внутри похолодало. В три глотка она допила компот, схватила кошелек и помчалась к выходу. Но на улице, через

пять шагов вдруг опомнилась: сумку-то, сумку, дура, оставила там, под столом, под ногами у негра!

Аида метнулась обратно, пробилась мимо очереди в зал, в глубину, ищущим взглядом нашла свою сумку, стоявшую на полу, схватила ее, подняла глаза и — обомлела.

Негра не было. На столе стоял ее нетронутый обед: бульон, котлеты и компот.

5

В 16 часов Аида Борисовна — точнее, Ида, а может, Идуля — маленькая Идуля, какой ощущала она себя когда-то в далеком детстве, когда еще можно было пожаловаться на свои обиды кому-нибудь из взрослых и кто-нибудь из теток мог ее приласкать и утешить, та маленькая Идуля, какой бы ей сейчас очень хотелось себя ощутить, и она старалась, потому что очень нуждалась в чьем-то утешении, в чьем-то сочувствии, в чьих-то незначащих и безо всякого смысла словах, вроде — "надо же!" — "ох, Господи! — "скажи, пожалуйста!" — "не может быть!" — "и правда" — но сказать этих слов было некому, и она всю дорогу домой, на метро и на автобусе, сама утешала себя безуспешно и бормотала себе про себя, про себя и, возможно, вслух, потому что она ловила не раз неприязненно брошенный взгляд, бормотала, что зуб у нее ну на той, наверно, неделе, залечат, и надо будет спросить про коронку, не надо ль коронку, а то потеряет, а надо жевать, колбасу не купила, ну что же, как вытащили от прилавка, так чек и остался в руках, потерялся, конечно, где-то, пока довели до комнатки, ну, так спасибо еще, что легко отделалась, а этот негр — чего расстраиваться, ведь умора и только, ну, неприятность, ну, перепутала столики, а он-то, он-то, будет своим рассказывать про русских, какие голодные, едят чужое, в газете своей буржуазной напишет, ну нет, наверно, интеллигентный негр, а я-то, я-то, подумала нехорошо про негра, это некрасиво, особенно, если сама еврейка — надо без национального, надо к другим относиться доброжелательно, даже если расстроена чем, хоть бы вот как и сегодня, вернешься, а даже

и докторской нет, и до получки трешка, сейчас сойду — хоть что-нибудь нужно купить — в 16 часов была Аида Борисовна дома. Не снимая пальто, опустилась она на постель и громко, с кашлем и хрипами, разрыдалась.

1977 г.

ТАТТИ И КЛЕФФ

Памяти города, который мы любили

Бывало это и раньше, "в самом начале", как говорили они о первых днях своей любви. Но тогда им и в голову не приходило придавать какое-то особенное значение столь обычным в их городе событиям, а тем более связывать их со своей судьбой. Но с течением времени они все больше убеждались, что *это* уже не выглядело обычным, а становилось чем-то страшным, необъяснимым, что с неумолимой настойчивостью привлекало их мысли, то и дело вмешивалось в жизнь и едва ли не заменяло саму жизнь.

Впервые это произошло весной. Возможно, говорила Татти, это случалось и до того, только они не замечали; но нет, возражал Клефф, если бы это было хоть раз, он бы наверняка заметил. А раз не заметил — значит, этого не было.

— Все-то ты замечаешь, — говорила Татти.

— Не дури, — отвечал Клефф. — Уж это-то я бы наверняка заметил.

— Чего не вижу, того не существует, — задиралась она.

— Страус Татти, — подсмеивался Клефф.

— Я тебя вижу. Следовательно, я существую. Но когда я тебя вижу — совсем не мыслю.

— Ну да! — тянул Клефф. — Еще как мыслишь! Женщина-философ. Чудо из чудес.

— Хочешь, тресну? — спрашивала Татти.

— Тресни, — соглашался Клефф. Она хлопала его по спине и подставляла губы для поцелуя.

— Вот-вот. Все эти наши поцелуйчики, — произносил Клефф с напускным недовольством. — Тогда мы тоже целовались.

— Мы осквернили ее своими поцелуями. И твоя рука оказалась у меня вот там. И Бог прогневался.

Тогда, весной, они целовались на крылечке заброшенной церкви. Ее двери и оконные проемы были забиты аккуратным оцинкованным железом: церковь находилась почти в центре города, и ей не полагалось портить вид. Ей вообще не полагалось быть, и именно об этом напоминали оцинкованные листы. Над церковным крыльцом шла толстая коробчатая труба от вентиляционного устройства, расположенного где-то в подвале. Там, внутри и внизу, постоянно что-то происходило, велась какая-то невидимая и, наверное, большая работа, потому что в церкви все время гудело и завывало.

— Там черти устроили ад, — прокомментировала Татти, на что Клефф ответил: "Не богохульствуй", — и стал целовать ее, открывая иногда глаза, чтобы с тайным самодовольством увидеть, как счастливо светится ее лицо. Впрочем, и она сквозь поцелуи поглядывала на него, и их глаза то и дело встречались, что обоих приводило в смущение, потому что такие поцелуи — не для открытых глаз.

Когда стали подмерзать, он заставил Татти застегнуть все пуговички — сперва маленькие, а потом и те, что побольше, и, смеясь, они спустились с крылечка.

— До чего же безнравственные! — говорила Татти. — Целоваться у Божьего храма!

— Какой это храм? Там ад, геенна огненная. Там маленькие чертенятки. Это они гудят, — стал сочинять Клефф. — Вот как снесли купола, так они там и поселились. У них там профтехшкола. Получают третий-четвертый разряд в зависимости от успеваемости.

Татти навострила ушки. Ее хлебом не корми, дай только послушать такие вот россказни.

— А какие у них дисциплины? — быстренько спросила она, и при этом ее голос даже чуть подрагивал, подвизгивал в предвкушении очередных глупостей Клеффа.

— Известно какие, — равнодушно сказал Клефф. — Клещедерство первое и второе. Разложение на члены и сухожилия.

Костодолбление. Котлонадзор. Технология зловония и дымообразования.

— Котлонадзор — это я слыхала, — задумчиво сказала Татти. — И разложение на члены. А вот клещедерство мне непонятно, особенно клещедерство второе.

— В консерваториях, как известно, изучают первую и вторую гармонии, — изрек Клефф. — А у них — первое и второе клещедерство. Понятно?

— Понятно, — кивнула Татти. — Ты всегда очень разумно и подробно объясняешь.

Клефф хотел продолжать в том же духе, но они уже были на пустом эскалаторе метро и снова стали целоваться, только дурашливо, без волнения.

— А там что? — неожиданно спросила Татти.

Клефф понял: эскалатор тоже гудел, и под ним, внизу, будто шла все та же большая работа...

Месяца через полтора они, эти два кровяных тельца, встретившиеся на разветвлении городских артерий, в который раз отправились бродить по переулкам, где нервный пульс вечернего города совсем не ощущался. Они и сами не знали, по каким местам идут, — им было тихо и покойно, они вели какой-то серьезный разговор — как вдруг Татти приостановилась и, улыбаясь, сказала, растягивая слова, что бывало, когда фраза рождалась у нее одновременно с мыслью:

— Па-аслу-ушай... А ведь где-то здесь чертова профтехшкола.

— Что? — не сразу сообразил Клефф, но тут же засмеялся. — Верно! Пойдем?

Схватившись за руки, они чуть ли не побежали, сперва по переулку, затем проходным двором, а потом и по улице, которая вот-вот должна была упереться в церковь.

Но улица вышла на широкую площадь.

Сияли светильники; шурша на подтаявших лужах, сновали такси; по-будничному мельтешили прохожие. Две пожилые женщины, повязанные белыми платками, стояли на тротуаре с хозяйственными сумками в руках и тараторили, то и дело перебивая одна другую. Люди чуть сворачивали, обтекая их

круглые спины, и ныряли в стеклянный аквариум нового магазина.

— Простите, вы не знаете, здесь была церковь? — обратилась к женщинам Татти.

— А как же? Была, — ответила одна из них и под домиком толстого шерстяного платка задвигала головой влево и вправо, бесцеремонно разглядывая Татти и Клеффа.

— Знамения, — подтвердила вторая и то ли с неодобрением, то ли с подозрительностью в голосе спросила: — А вам на что?

— И то сказать, — пожал плечами Клефф и повернулся к Татти. — И ни на что вовсе, правда?

Когда они прошли с десяток шагов, Клефф оглянулся. Женщины стояли неподвижно, пристально глядя им вслед. Татти поежилась.

— Было — и нету, — сказала она.

— Меняется облик нашего города, — свежим голосом воскресного радиодиктора заговорил Клефф. — Там, где еще вчера были пустыри, сегодня возникли прекрасные здания. Там, где вчера были прекрасные здания, сегодня... Пойдем куда-нибудь кофе попьем?

— Или не кофе.

Однажды Клефф среди дня позвонил Татти на работу. Был очередной период, когда становилось невыносимым оставаться друг без друга, без той, пусть даже недолгой близости, что потом давала им возможность прожить еще какой-то кусок жизни.

— Вроде бы получается, — сказала Татти.

— Когда же? — спросил Клефф и по тому, как Татти промолчала, понял, что она может лишь односложно отвечать на его вопросы. — Ты смоешься в обед?

—Да.

— Надолго?

— Н-нет.

— Часа на два? На три?

— Вроде этого.

— Есть ключ? От той же квартиры? Понятно. Значит, времени мало?

—Да.

— Тогда иди прямо туда. Я беру такси и через пятнадцать минут буду. Татти!

—Да?

— У меня уже пересыхают губы.

— Н-ну, хорошо. Счастливо, — с конспиративной холодностью ответила Татти, но он уловил, как нелегко ей это далось.

Такси мчалось по набережной, когда шофер, кивнув головой куда-то вправо, сказал:

— Поплавка-то нету. Сгорел.

Клефф глянул через боковое стекло. Действительно, на этом месте, у парапета набережной всегда стоял дебаркадер, грубо выкрашенный голубой и белой краской. В нем помещался ресторанчик из тех, в какие никогда не тянет зайти.

— Сгорел?

Шофер ухмыльнулся:

— Проворовались.

А спустя пять минут Клефф уже прижимал к себе Татти, и целых два часа, и потом еще два, и еще один они были наедине и знали, что никто не помешает им здесь, и Татти махнула рукой на работу — пусть их застрелятся со своими проверками, ни черта мне не сделают — и стало так прекрасно, и о стольком нужно было говорить!..

О сгоревшем дебаркадере вспомнилось недели через две или три, когда они поздним вечером, пройдя по мосту, свернули на набережную, чтобы направиться к ближайшей станции метро. На набережной они остановились и стали смотреть на дрожащие светлые полоски, которые ложились на черную воду от огней на другом берегу. Облокотившись о парапет, Татти долго глядела прямо перед собой и чуть улыбалась, а Клефф сбоку следил за выражением ее лица, думая, что она вот-вот скажет ему что-нибудь очень милое и смешное. Но Татти повернула голову и выпрямилась.

— Ха! Ресторанчик-то уплыл? — удивилась она.

— Дебаркадер? — уточнил Клефф, оглянувшись в ту же сторону. Он рассказал, как ехал здесь на такси в тот, еще совсем

недавний, памятный им день, когда они были вместе, и повторил слова шофера.

— Заведение-то было паршивое, — с расстановкой, будто в чем-то убеждая себя, проговорила Татти. — Но мы здесь столько раз шлялись...

Клефф тоже почувствовал себя неуютно — словно человек, обнаруживший, что в его комнате отсутствуют какие-то, может быть, и ненужные, но привычные предметы.

Много позже выяснили, что тогда, на набережной, они испытали одно и то же. Потом им пришлось чуть ли не свыкнуться с ощущением внезапно обступавшей их пустоты, но тот вечер запомнился каждому именно потому, что оно, это ощущение, явилось к ним впервые, и если и не было столь сильным, как не раз в дальнейшем, зато остро подействовало своей новизной. На виду у прохожих Татти вдруг метнулась к Клеффу и, крепко взяв его голову в пылающие ладони, быстро взглянула ему в глаза.

— Ты меня не разлюбишь? — спросила она, пытаясь улыбнуться.

"Конечно, разлюблю", — отвечал обычно каждый из них на подобные вопросы, и они начинали дразнить друг друга. Но тогда Клефф только посмотрел на нее ответным печальным и ласковым взглядом и увидел, что успокоил ее.

Вскоре неподалеку от этой набережной, в переулке, где всегда можно было посидеть на лавочке маленького скверика, зажатого среди старых, столетней давности особнячков, начали строить дом. К тросу, свисающему с шеи гусеничного крана, похожего на жирафу с отрубленными ногами, привязали металлический шар и с размаху стали швырять его, подобно мячу, о стены особнячков. В противоположность резиновому, этот мяч не обладал способностью отскакивать от стен. Скорее, стены отскакивали от него и с шорохом опадали, обнажая балки, — так, как опадает от соприкосновения с воздухом истлевшая одежда на мертвом теле, когда раскрывают древнее захоронение: рассыпается в прах и являет миру безжизненные кости.

Татти и Клефф молча смотрели, как ставили забор, огораживая груды щебня и их скверик, где некоторые из лип стояли теперь с надломленными ветвями и ободранной, измятой листвой; как приколачивали фанерный щит с надписью: "Строительство административного здания ведет СУ № . . ."

Так, одно за другим, начиналась эта длинная цепь исчезновений. Дома, деревья, улицы — большие и малые пространства — выпадали из окружающего. Исчезновения все больше приобретали характер естественного хода событий. Именно так старались воспринимать их Татти и Клефф, чтобы хоть как-то с этим уживаться.

И однако, в происходящем было нечто, чего они никак не могли понять и с чем не могли примириться. Они убедились, что никто, кроме них, не замечал вокруг ничего необычного. Оказалось, что для всех мир каждый раз легко укладывался в новые границы, а то, исчезнувшее, никого не волновало.

Несколько позже события приняли новый оборот. На телефонные звонки к кому-нибудь из родственников или друзей и Татти и Клефф стали получать ответы вроде того, что "такие здесь не проживают", "выехали неизвестно куда", а то и просто в трубке воцарялось молчание, в котором, однако, таилась некая жизнь: что-то потрескивало, шуршало, ползло куда-то вдоль проводов... Не добившись ничего путного, кто-нибудь из них ехал по знакомому адресу, надеясь застать нужного человека, но всякий раз случалось, что человек этот и вправду не жил на старом месте — давно уехал, бесследно пропал. Люди исчезали подобно строениям, а бывало, и одновременно с ними. Когда Клефф оказался в районе, где жил в детстве, лет двадцать назад, и рискнул завернуть к своему дому, он увидел лишь большой треугольник земли, усаженный чахлыми кустиками, между которыми стояли скамейки и мусорные урны. Были здесь и столик для домино, и песочница. В песочнице рылась девчушка лет пяти, и Клефф потерянно смотрел на нее, сидя на скамейке рядом с седоватым, крепким стариком, наверное, дедом этой девчушки.

— Дядя, ты чужой? — спросила девчушка.

— Я свой, — сказал Клефф. — Я тут жил, когда был таким же маленьким, как ты.

Девчушка с явным недоверием поглядела на Клеффа и, оттопырив губу, отрицательно покачала головой:

— Нет, дядя. Ты не был.

— Был, — постарался улыбнуться Клефф. — Честное слово.

— Нет, дядя, — уверенно повторила девчушка и вновь принялась за песочек, потому что Клефф ее больше не интересовал.

— А фамилия ваша? — неожиданно заговорил дед. — Я с довойны здесь прописан и, между прочим, управдомствовал, пока не ушел на пенсию. Я всех помню.

Однако семьи Клеффа старик не знал. Не знал и тех из соседей, кого Клефф принялся называть, доказывая, что жил в этом квартале.

— Нет, гражданин, — тоном официального отказа заявил дед. — Не было вас тут никогда. Нечего и разговаривать.

У Татти произошла чуть ли не в тот же день история, здорово расстроившая ее. Рассказывая о ней, Татти то кусала губы, то, стараясь скрыть от Клеффа свое состояние, принималась над собой подшучивать.

— Еду я в троллейбусе и вижу — девчонка из моего класса. "Здравствуй", — говорю. А та: "Простите?" Я говорю, мы учились вместе, как же ты не помнишь? А она: "А вы меня не спутали с кем-нибудь?" И почему-то смотрит на девицу, которая сидит рядом с ней. А она, эта вторая, тоже на меня поглядывает как-то странно. Я говорю: "Ну, не узнаешь —жаль..." И вдруг вторая сказала: "Вы действительно ошиблись. Ведь мы с ней — и кивает на мою девчонку — учились в одном классе все десять лет, так что вы и меня должны узнать. А ни вы меня, ни я вас не помним". Как тебе это нравится, Клефф? Ведь я и сейчас убеждена, что не ошиблась. А знаешь, как я выглядела?

И она весело принялась рассказывать, какой дурой показалась и себе и пассажирам троллейбуса.

— Вот что, Татти. Не удрать ли на воскресенье? — предложил Клефф. — У меня давно уже все во рту пересохло. Дай, сестрица, воды напиться, — сказал он ей в самое ухо.

— Ох, — только и смогла она ответить.

В жаркое июльское воскресенье они уехали далеко за город и в орешнике, на траве, источавшей все запахи сухого солнечного дня, долго любили друг друга, и утоление сменялось новой жаждой.

Возвращались поздно. Сойдя с электрички, привезшей их совсем уже сонных в город, они поняли, что на метро опоздали. Ночь успела затопить привокзальную площадь и теперь струилась вдоль пустынных улиц, омывая деревья, окунувшие листву в ровный поток ее прохлады. Татти и Клефф обнялись и пошли через город, ступая медленно и осторожно. Остался позади широкий проспект, что вел от вокзала к бульвару, прошли и бульвар, двинулись к театру и обогнули его с задворка, где были свалены ветхие декорации, пересекли другой бульвар и, когда стали спускаться под горку к домам, за которыми были река и мост, остановились.

Клефф почувствовал, что Татти хочет высвободиться, и снял руку с ее плеча. Они стояли на расстоянии в полшага один от другого и смотрели в зияющую черноту, скрывавшую все обозримое пространство перед ними. Они не видели ни домов, ни улиц, ни светильников, ни самой земли. Неподвижная тушь, поглотившая мир, была густой и плотной. Казалось, протяни ладонь — и она, как разом отсеченная, пропадет, исчезнет в бездонной, беспроглядной глубине.

Ступени, уходившие с бульвара туда, вниз, обрывались за кругом света, падавшего от последнего слабого фонаря за их спиной.

— Это не по правилам, — тихо сказала Татти. Клефф хмыкнул.

— Не по правилам, — настойчиво повторила Татти и слишком уж спокойно стала просовывать свои пальцы между пальцами Клеффа. — Если так уж необходимо нас испугать, то придумали бы что-нибудь...

—Что?

— Откуда я знаю? — пожала Татти плечами. — Что-нибудь... Нечисть всякую, привидения... Или вопли. Представляешь? Идем мы с тобой, идем и вдруг — вопли. Очень было бы страшно.

— А это — не страшно?

— Это не по правилам, — упрямо стояла на своем Татти. — Так нельзя, чтобы вовсе ничего. Так нечестно. Что-то же должно оставаться взамен? Забирать сразу по такому куску — она смело ткнула носком босоножки прямо в пустоту, — и ничего не давать взамен, я считаю, нечестно.

— Я бы сказал, несправедливое исключение из закона сохранения материи и вещества, — поддержал ее Клефф.

— Вот, вот, я и говорю! — обрадовалась Татти и благодарно сжала его руку. — Сколько от чего куда убавится, столько того же туда и надбавится. Так?

— Так! И вообще: на фига природе пустота?

— Даже больше того: пошлем его, это самое, куда подальше! — совсем расхрабрилась Татти, и ее воинственность свидетельствовала, что дело было дрянь.

— Пошли, — решительно сказал Клефф и крепко ухватил Татти повыше локтя. Они шагнули вперед, и тьма сомкнулась.

Им не были слышны даже собственные шаги: ноги погружались во что-то мягкое, обволакивающее, подобное толстому, теплому слою дорожной пыли. Клефф двинулся было в сторону, но ощутил под собой все ту же порошкообразную поверхность и решил, что уж лучше идти в выбранном направлении. На всякий случай он вытянул перед грудью руку, затем попытался чуть заслонить Татти, чтобы хоть плечом своим прикрыть ее от всего, с чем они могли неожиданно столкнуться в темноте. Однако Татти разгадала его намерение, легко вывернулась из-за спины Клеффа, и он понял, что она ни на миллиметр не даст ему опередить себя.

Почти с самого начала они потеряли всякое представление о времени. Их путь становился таким же бесконечным, как обступившая их тьма и как пыль под ногами. Оглянувшись, Клефф не увидел огней там, откуда они ушли. Да и можно ли было поручиться, что огни остались сзади, а не где-нибудь справа или слева? Вполне могло оказаться, что Татти и Клефф успели сделать целый круг, да еще и не один, и возможно, топтались на месте. Но они шли и шли, как хотелось им думать — шли вперед, осторожно приподымая, вернее, волоча ноги, чтобы случайно не лишиться зыбкой опоры и не упасть в черную бездну.

— А шептаться можно?— чуть слышно, будто боясь звуков своего голоса, спросила Татти. Клефф глотнул побольше воздуха и ответил в полный голос, так что от неожиданности Татти вздрогнула:

— Можно, черт побери!

И они стали болтать, а потом Татти замурлыкала песенку:

— Солнышко, солнышко, рыжий лохматый пес, — пела она, — кто тебя на небо занес? Что за дом у рыжего пса — голубые небеса! Хочешь пить? Вот плывут облака — попей из облака молока. Хочешь, рыжий, поесть? Краюха-месяц на небе есть. А если спать, лохматый, пора — вон торчит из-за леса гора, уходи-ка, солнышко-пес, за гору, улезай в конуру. Солнышко, солнышко, не пора ли встати? Посвети, пожалуйста, Клеффу и Татти, очень скучно в эдакой тьме идти — рыжик, солнышко, посвети!

Они остановились, потому что с необыкновенной вдруг нахлынувшей на него нежностью Клефф стал целовать Татти и говорить, что он любит, любит, любит ее...

Пошли опять, и Татти придумала идти с закрытыми глазами. Все равно ничего не видно, объяснила она, а глаза все равно слипаются. Клефф опустил веки и почувствовал истинное блаженство. Теперь они шли, едва не засыпая. Некий сторож внутри этих двух утомленных существ не давал им упасть лицами в пыль, и среди забытья Клефф постоянно ощущал, что Татти здесь, рядом с ним, и она держит его за руку. Это чувство было единственным из всего живого и человеческого, что еще оставалось в нем.

1970 г.

Лия Владимирова

ПРОШЕДШИХ ЛЕТ ГРЯДУЩИЕ ТРЕВОГИ

НОЯБРЬ

1.

Опять ноябрь... Опять... Как трудно...
Как выразить? Как передать?
Порой и это благодать,
Ноябрь, — остаться безрассудной.

Опять ноябрь... Весною ранней —
Ноябрь за ясной синевой.
Как страшно памяти живой
Стать отсветом воспоминаний!

Ноябрь! И давнишней печали
Отдавшись (радость — впереди!),
Лишь тяжесть чувствовать в груди —
Ноябрь! — и бредить о начале...

13.11.78.

2.

О, это серое смиренье,
И дрожь, и серый дождь в стекле,
И зябкое стихотворенье,
Заброшенное на столе...

Сегодня бредила размером,
В котором дождик моросил.
И в скверах серо, в небе серо.
И сердце есть, да нету сил...

Декабрь 1978.

3.

В моей игрушечной зиме
Тепла, казалось бы, хватает.
Но лето понемногу тает,
Плюс листопад... (Зима — в уме).

И в замкнутости, как в тюрьме,
Себя раскаяньем питает
Вина, а листья облетают,
Декабрь, декабрь! (А снег — в уме).

В толпе, в вечерней кутерьме,
Подросток-девочка плутает;
Мой новый день в окне блистает,
Мой Новый год... (Мороз — в уме).

Иль свет не светится во тьме?
Цветы ль в снегу не расцветают?
И с явью явь переплетает
Видения? (А сон — в уме?..)

Как тесно в пестрой хохломе
Морозных снов воздушной стае!

На жгучем солнце выцветает
Лубок… (А старый год — в уме) ...

Декабрь 1978.

4.

Тебя ничем не растревожу я
И буду сетовать одна.
Такая ветрено-погожая
В окошко смотрит старина!

Снежок поскрипывает молодо,
И словно резвые снежки,
Вдруг в сени, разбежавшись с холода,
Влетают прежние деньки.

— В путь! В путь! — зовет дорога дальняя.
Пора. Да сбудется. Прощай.
Сквозная, синяя, хрустальная,
Хоть в старых сказках навещай!

13.10.78.

5.

Как у последнего порога —
Так близко память подошла!
Растет душевная тревога,
Дай Бог, чтобы она росла.

О чем тоскуется все пуще?
Кого сегодня впустишь ты
В свой мир — себя не сознающей
И беззащитной красоты?

Декабрь 1978.

6.

Так это значит — вдохновение?
За дачным струганым столом
С собой в разладе, в нетерпении
Дрожу и стыну. Поделом!

А там потянет снег девичества,
И белый город к сердцу льнет.
Ликующее ученичество
Мне память вдруг перевернет.

Ах, память! Вспышками, повторами…
И не проси, не погожу
Я с разговорами, которыми,
Как горьким чаем, дорожу.

И хмель. И праздных сил кипение.
Горячка, холод, забытье.
Простишь ли все долготерпение,
Все нетерпение мое?

11.11.78.

7.

НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ

Ступени, сосны, тень, прохлада.
И просветленная душа
Собой довольствоваться рада,
Мгновенной вечностью дыша.

И ранним колокольным пеньем,
Как дрожью, тронут дальний зной.
Я тронута прикосновеньем
Таинственным — к себе самой.

Ноябрь 1978.

Мне снилась зима, до того молодая,
Что не было места угрюмым заботам.
О легком, о трепетном знала всегда я,
Но медлила, словно боялась чего-то.

А мнилось — продолжу в иных измереньях
Свой опыт, намеченный в нашем, трехмерном.
И снилось нездешнее стихотворенье, —
Ведь где-то оно существует, наверно.

Лишь дай ему вздох, долгожданному звуку,
Дай толику сна и вина золотого.
Рассудочность, не останавливай руку!
Еще я дышу, еще верую в Слово.

И вновь обнимают меня постепенно
Мой снег, моя нежность и юность святая.
И след мой, который казался мгновенным,
Опять обозначился, нехотя тая.

Июль 1979.

* * *

Когда порою в душный час
Опять подступит немота,
Когда своих пугаюсь глаз,
В которых жесткость и тщета,

Когда, как в отрочестве, бьюсь
Над неудавшейся строкой,
Когда, как призраков, боюсь
Видений, вызванных тоской, —

Лишь этой веры не отдам,
Лишь этой верностью права:

Земля Израиля — вся храм,
Вся светом памяти жива.

И все я нянчусь, все вожусь
С нехитрой тайною своей:
Я только черствости стыжусь,
А робость горькая — Бог с ней.

1979.

* * *

Стужа пахнет свежескошенной травой,
Алы цветики восходят на снегу.
Ах, я с ясною, ненастной головой
Жизнь свою понять по-новому смогу.

А в июле — снег тишайший, молодой,
Вдоль по улице метелицы метут.
А вспоенные студеною водой,
На седых камнях подснежники цветут.

А под осень — все лучистей синева,
Звонкий ветер кружит мартом на дворе.
А зеленая, веселая листва
Занялась огнем, зарделась — в январе.

Виновато в этом солнце и вино:
Снятся серенькие, пасмурные сны.
Старой яблоней окно затемнено,
Светлым сумраком замедленной весны.

Ты постой-ка, дай мне выпить эту стынь,
Эту свежесть, этот бред и забытье.
Терпким мартом, мартом, жарким, как полынь,
Все язвит меня, живит меня питье.

Март 1979.

* * *

Устав от солнечных просторов,
Я затворюсь,
Средь многошумных разговоров —
Разговорюсь.

В глазах /мне курево — спасенье/
От дыма резь.
Как много горечи весенней
Повсюду здесь!

Лишь мысль какая-то шальная
Мне мозг сверлит.
Лишь песня, песня, ширь степная,
В груди щемит.

Весенней жажде нет границы,
Чем утолить?
Рука усталая боится
Чай перелить.

Март 1979.

* * *

В горячих окнах — медуница,
В морозной памяти — капель.
Как много места на странице,
Где место действия — апрель!

Апрель — как девичья записка,
Как шепот ветреный: — Твоя...—
И сердце снова просит риска
Вернуться из небытия.

А строчка — терпкая отрада,
Она награды не сулит,—

Лишь свет, невидимый для взгляда,
Во тьме таинственно разлит.

Я есмь, я чувств своих не прячу,
Я мыслю, смыслу вопреки.
Опять, опять смеюсь и плачу
В приливе счастья и тоски.

Шепчу я небу: — "Благодарствуй"
И низко кланяюсь цветку.
Отдать бы, Господи, полцарства
Или полжизни — за строку!

Апрель 1979.

* * *

Покуда мысли медлят в стороне,
А руки черной заняты работой,
С природой косной борется во мне
Неясное, тревожащее что-то.

И память, чем-то давнишним полна,
Сторонится случайного прозренья...
Не так ли плоть явлений нам видна,
А суть недосягаема для зренья?

Вот если бы слезам — свободно течь!
Дышать— при каждом выдохе и вдохе,
Прерывистую сбивчивую речь
Доверить недоверчивой эпохе!

Я смолкну, повернусь лицом к стене.
И вновь — к столу, к перу, забыв о слоге...
День гаснет, возвращая в новом дне
Прошедших лет грядущие тревоги.

Май 1979.

Дора ШТУРМАН

ЕГО ЕРЕТИЧЕСТВО АНЕКДОТ

Фрагменты из "Озорной онтологии"
(Тысяча анекдотов)

ОДА АНЕКДОТУ

Когда страну превращают в дот,
И ложью сочатся строчки,
Его Величество Анекдот
Хохочет: — Пошли денечки!..
Его Еретичество Анекдот
Набрасывает портреты.
Его Непочтительство Анекдот
Треплет авторитеты.
Его Безлестие Анекдот
Своих творцов не бессмертит.
Его Безвестие Анекдот
Дыры в плотинах вертит.
Его Смехачество Анекдот
Немых и тишайших слышит.
Его Лихачество Анекдот
Без ручки летопись пишет.

Его Бродяжество Анекдот
Колышет ЦК и нары,
Дипломатический табльдот
И скучные семинары.
Трясет, качает, колеблет дот
Снизу до верхотуры
Его Язвительство Анекдот,
Его Грустительство Анекдот,
Его Учительство Анекдот —
Область Литературы!

ПЕСЕНКА О ВЫЕЗДЕ

1

Открыты все границы:
Запрет на выезд снят.
В таможнях вереницы
Желающих стоят.
Шальной, как с перепоя,
Путеец-офицер
В тупик отправил поезд
А-Н ЭС-ЭС-ЭС-ЭР.
Вопят недоуменно
/Задержка — в сердце нож/
Действительные члены,
Корреспонденты тож.
Путеец вносит ясность:
"Отправлю я сейчас
ЦК и безопасность,
А вслед за ними — вас".
В ответ он слышит: "Парень,
Тебя мы не тесним:
Шугни-ка их подальше,
А мы повременим!"
И с песнями обратно

Умчался эшелон.
Дожить бы вам, ребята,
До этаких времен!..

МУДРАЯ ГОЛОВУШКА

2

Вышел Брежнев на крыльцо,
Поднял к солнышку лицо:
"Здравствуй, утро ясное,
Здравствуй, солнце красное!"
Молвит солнышко в ответ
Звонко, как соловушка:
"Здравствуй, здравствуй,
маршал-свет,
Мудрая головушка!"
Жаркий полудень встает,
Брежнев иволгой поет:
"Здравствуй, солнце ясное,
Здравствуй, лето красное!"
Молвит солнышко в ответ
Звонко, как соловушка:
"Здравствуй, здравствуй,
маршал-свет,
Мудрая головушка!"
Над Москвой закат горит.
Снова Брежнев говорит:
"Здравствуй, солнце ясное,
Красное-прекрасное!"
Молвит солнышко в ответ:
"Надоел, терпенья нет.
Топай к маме-папе, дед.
А я уже на Западе!"

ПО ЗОВУ ПАРТИИ

3

Был приглашен /попутал черт/
Внешторгом в некий "ящик"
Один заморский звездочет —
Коллега и заказчик.
Ответы на любой вопрос
Гебист раздал заранее.
Одеты и народ, и босс
Как можно иностраннее.
Приемов ритуал не нов —
Нова одна идея:
Начальством некто Иванов
Назначен в иудеи!
А вдруг заокенский тать
Привержен к ихней нации
И будет после клеветать
Насчет дискриминации?
— Еврей необходим, хоть вой,—
Сказал парторг, вздыхая, —
А Иванов и в доску свой,
И с виду чистый Хаим.
— Ну, что ж, — ответил Иванов,—
По зову Партии — готов.
Как патриот и как брюнет,
Я не могу ответить "нет".
Парторг расцвел, как пионер,
Когда спросил миллионер,
Кто комплектует институт
И много ли евреев тут.
— Мы подбираем кадры не
По нациям и расам.
Ефима Львовича ко мне,—
Сказал директор басом.
Минуты грозные идут,
Растет кошмар по Кафке,

А Иванова нет ни тут,
Ни у себя, ни в главке.
Парторг застыл, как монумент,
Директор поседел в момент,
Когда проблеял референт,
Явившийся на вызов,
Что Рабинович-Иванов,
Что Иванович-Рабинов,
Что Раб-Иван-Инович-ов
Ушел в ОВИР за визой...

ДВАЖДЫ ДВА ШЕСТЬ

4

В одной стране царили
Тиран и шайка слуг.
Они установили
Предел для дважды двух.
Большой научный опыт
Позволил им расчесть,
Что дважды два, что дважды два
Не менее, чем шесть.
Решенье это было
Святым законом их.
Раскольников на мыло
Пускали в тот же миг.
В царев острог, на плаху
Антишестистский сброд!
...И благодарно ахал
Признательный народ.
Царя наследник хилый
Был не лишен идей.
Решил он, что на мыло
Грешно пускать людей.
В припадке альтруизма
Позволил он считать,

Что дважды два, что дважды два
Не более, чем пять.
Но край родной не стоил
Царевых добрых дел.
Чихая на устои,
Он рвался за предел.
И скоро даже в школе
Пошли мальцы шептать:
"Уж если дважды два не шесть,
Так, может, и не пять!"
Хотя и не забыли
Они шестистских схем
Ученые подбили
Итог на ЭВМ.
И в обнаглевшем мире
Назрел последний шаг:
Мол, дважды два — четыре,
А больше — ни шиша.
А кто того не знает
И не желает знать...
На кой нам черт такая
Безграмотная знать!
Вот тут и понял наш царек,
Что батя — голова...
Эх, сказка — ложь, да в ней намек,
Простой, как дважды два.

ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА, КРИТИКА.

Н. ПРАТ

ЕВРОКОММУНИЗМ И МОСКВА

Когда говорят о еврокоммунизме, то имеют в виду прежде всего крупнейшие компартии Западной Европы: итальянскую, французскую и испанскую. Из этих трех первой вступила на новый путь компартия Италии. Сам термин "еврокоммунизм" был придуман итальянским либеральным журналистом. Те, чьи взгляды этот термин обозначает, приняли его отнюдь не без сопротивления, и до сих пор из их уст можно услышать утверждение, что никакого еврокоммунизма в действительности не существует. Тем не менее лидер испанских коммунистов Сантьяго Каррильо не побоялся назвать свою книгу, которая является самым полным и откровенным изложением новой ереси, "Еврокоммунизм и государство".

Похоже, что еврокоммунисты готовь: примириться с этой кличкой, поскольку она приобрела общее признание, подобно другой, столь же бессмысленной формуле "социализм с человеческим лицом". Последняя формула подразумевает, что возможен социализм со звериной мордой, и возражает против такого вида социализма. Она склонна принимать всерьез претензии деспотической бюрократии на то, что и ее правление есть социализм — "реальный социализм", как выражаются советские пропагандисты.

Еврокоммунизм возник как утверждение иного, отличного от советского, пути к социализму, а также и модели социалистического общества, отличной от той, которая реализована в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Первыми симптомами его возникновения были критические замечания лидера ИКП Пальмиро Тольятти по поводу "закрытого" доклада Хрущева на XX съезде КПСС о преступлениях Сталина. Тольятти не был удовлетворен тем примитивным объяснением, которое давалось в этом докладе чудовищным фактам сталинского деспотизма. Хрущев возлагал ответственность за все то, что эвфемистически именовалось "нарушениями социалистической законности", на одного Сталина, не пытаясь даже сколь-нибудь научно проанализировать социальный смысл сталинского режима.

Вместо того, чтобы распространяться о пресловутом "культе личности", Тольятти предпочел, пусть в осторожной и гипотетической форме, поставить вопрос о перерождении некоторых элементов советского государства, иначе говоря, намекнуть на то, что преступления Сталина были не следствием отрицательных черт его личности, но порождением системы, господствующей в Советском Союзе.

Первостепенной заботой Тольятти было обеспечение фактической независимости итальянской компартии от Москвы. Он был ярым противником того, чтобы международное коммунистическое движение управлялось из единого центра, как это происходило во времена Сталина. Он является создателем теории "полицентризма", принципиально отрицающей какую-то высшую инстанцию, указаниям которой должны следовать все компартии.

Тольятти сформулировал идею демократического пути Италии к социализму через "структурные реформы" — идею, полностью противоречащую революционной тактике ленинизма, формальную верность которому продолжали, однако, хранить итальянские коммунисты.

Процесс обновления итальянского коммунизма был несколько задержан советской интервенцией в Венгрии, которую итальянские коммунисты поддержали, опасаясь полного разрыва с Москвой. Однако под руководством Тольятти ИКП приобрела способность действовать самостоятельно, не оглядываясь на Москву при выработке своей политической линии, хотя и принимая во внимание позицию советского руководства.

В споре между Москвой и Пекином итальянские коммунисты, подвергшиеся резким нападкам китайцев за свой ревизионизм, заняли независимую позицию, отказались безоговорочно осудить Китай, поскольку это означало бы возврат к тому положению, когда коммунистические партии всего мира послушно выполняли приказы Москвы.

В своем политическом завещании Тольятти призывал к демократизации коммунистических режимов и укреплению полицентризма в международном коммунистическом движении. Он заложил прочные основы будущего еврокоммунизма, развитие и теоретическое осмысление которого стало задачей его преемников.

Попытки итальянских коммунистов обновить доктрину и тактику своего движения столкнулись первоначально с оппозицией их французских коллег. Твердолобый сталинист Морис Торез, который сопротивлялся всяким попыткам поставить под сомнение мудрость советского руководства и навязал своей партии молчание о сенсационных разоблачениях Хрущева, был самым решительным противником итальянских новшеств. Однако с течением времени и образцово просоветская ФКП все более склонялась к признанию правоты своих итальянских собратьев. То один, то другой из вчера еще вполне ортодоксальных французских коммунистов впадал в ересь и подвергался осуждению товарищей по партии — иногда с оргвыводами. Так был исключен из партии ее главный философ Роже Гароди, еще недавно обличавший ревизионизм Анри Лефевра. В конце концов французская компартия приняла еврокоммунистическую программу, из которой было выкинуто упоминание о "диктатуре пролетариата", что свидетельствует о теоретическом, по крайней мере, разрыве с ленинизмом.

Решающим событием в истории формирования еврокоммунизма как направления, противопоставляющего себя коммунизму советского типа, явилось вторжение войск Варшавского пакта в Чехословакию. Если советская интервенция в Венгрии в 1956 году была встречена одобрением, пусть и не всегда высказанным с одинаковым энтузиазмом, всех европейских компартий, то вторжение Советского Союза и его сателлитов в страну, попытавшуюся на практике осуществить социализм в сочетании со свободой, было осуждено (хотя опять же с неодинаковой решительностью) главными компартиями Европы. Причем не только такими большими и массовыми, как итальянская и французская, но и такими слабыми партиями, как английская.

1968 г. стал водоразделом в истории западноевропейских компартий. С этого времени они стали открыто критиковать Советский Союз — "родину трудящихся всего мира", одно слово осуждения в адрес которой означало когда-то отлучение святотатца от марксистско-ленинской церкви.

Советское руководство, естественно, встретило появление новой ереси со сдержанной яростью, которая не проявляется со всей широтой, свойственной русской натуре, лишь потому, что полный разрыв с крупнейшими компартиями западного мира в условиях ожесточенного конфликта с Китаем представляет в глазах советских руководителей слишком дорогую плату за наказание ослушников. Поэтому советская печать ограничилась лишь мелкими укусами — статьями по адресу самых дерзких и наиболее уязвимых теоретиков еврокоммунизма в таких второстепенных изданиях, как "Новое время", но не развернула той бешеной компании клеветы и поношения, которую при прочих условиях вполне можно было бы ожидать.

В чем же, однако, суть еврокоммунистической ереси?

ДОКТРИНА

Еврокоммунизм отнюдь не представляет собой некоей законченной и оформленной системы взглядов. Между различными представителями еврокоммунизма существуют весьма значительные разногласия по вопросам, имеющим принципиальное значение. Объединяет их более или менее решительное отрицание советской модели социализма и декларируемое стремление положить в основу строительства социалистического общества традиционные западные идеалы демократии, парламентаризма и свободы. Как говорит испанский коммунист Мануэль Аскарате, "еврокоммунизм — это собрание новых теорий, новых политических и стратегических идей, которые возникли в ряде коммунистических партий и которые стремятся дать новый ответ на вопросы, поставленные кризисом нашего времени. Он ищет пути социалистического преобразования общества демократическими методами и продвижения к новому социалистическому обществу, основанному на полном уважении к свободе человека, на плюрализме и лучшей социальной участи для всех. Короче, он стремится покончить с эксплуатацией человека человеком. Иными словами, еврокоммунизм ставит себе целью установление нового отношения между демократией и социалистическим преобразованием общества".

Еврокоммунисты заявляют, что, придя к власти в результате свободных выборов, они сохранят многопартийную систему и право оппозиции на свободное отстаивание своих взглядов. Они отказываются от идеи диктатуры пролетариата и утверждают, что ленинизм, может быть, представлял собой верное отражение интересов пролетариата в условиях отсталой России, но для промышленно развитых стран Запада, обладающих давними демократическими традициями, он определенно не годится в качестве рецепта социалистической революции.

Еврокоммунисты высказываются против тотальной национализации и считают необходимым сохранение на неопределенно длительный срок частного предпринимательства в ряде

важных отраслей хозяйства. В борьбе за власть они хотят опираться не только на рабочий класс в союзе с крестьянством, как этого требует ленинская догма, но и на самые широкие слои народа, включая служащих всех рангов, интеллигенцию, а также мелкую и среднюю буржуазию. В сущности, из "классовых" партий они хотят превратиться в "народные". Лишь крупная, монополистическая буржуазия исключается еврокоммунистами из числа их потенциальных избирателей. Но эта группа представляет собой явное меньшинство.

Своих целей еврокоммунисты хотят добиться мирным путем, с помощью завоевания законного парламентского большинства. В ожидании полной победы на выборах, которая может, однако, наступить в лишь более или менее отдаленном будущем, еврокоммунисты стремятся войти в коалиционные правительства. Участие в таких правительствах позволило бы им оказывать определенное влияние на политику своих стран. В этом смысл идеи так называемого "исторического компромисса", выдвинутой интеллигентным и динамичным лидером итальянских коммунистов Энрико Берлингуэром.

В области внешней политики еврокоммунисты выступают за ослабление международной напряженности, за европейское единство, а Берлингуэр даже заявил о желательности для Италии после победы коммунистов на выборах оставаться в составе НАТО, главная цель которого, как известно, — коллективная защиты Запада от возможной советской агрессии.

Даже беглый перечень программных требований еврокоммунизма заставляет поставить вопрос: что, собственно, осталось в этих требованиях от коммунизма? Того коммунизма, который возник в Европе после первой мировой войны как оппозиция обанкротившейся социал-демократии? Революционного коммунизма, который стремился к слому буржуазного государства и установлению диктатуры пролетариата в форме власти рабочих советов и проповедовал открытое насилие по отношению к эксплуататорским классам? Итальянские коммунисты любят ссылаться как на своего идейного вдохновителя на одного из самых оригинальных марксистских мыслителей XX века Антонио Грамши. Парадоксальным образом

заключение в фашистской тюрьме спасло основателя и теоретика коммунистической партии Италии от духовного оскопления и, скорее всего, физической гибели в сталинском застенке. Сегодня идеи Грамши пользуются огромным влиянием среди левой интеллигенции Запада, она видит в них образец недогматического и свободолюбивого марксизма, который можно противопоставить нудной догматике советского образца. Однако левые бунтари справедливо утверждают, что ИКП не имеет права клясться именем Грамши, потому что основатель итальянского коммунизма был решительным противником социал-демократического реформизма, который составляет сегодня подлинную идеологию созданной им некогда партии.

В самом деле, если рассматривать еврокоммунизм абстрактно как чисто идейное течение, приходится признать, что он является разновидностью социал-демократической идеологии, причем даже не самой левой, если руководствоваться критериями, на основании которых произошел некогда великий раскол в рядах международного социализма.

Среди еврокоммунистических идей едва ли можно найти такую, которая не была бы сформулирована теоретиками социал-демократии в полемике с коммунизмом. Чтобы спасти коммунистическое лицо, теоретики еврокоммунизма прибегают к старому "диалектическому" трюку: они утверждают, что, поскольку истина всегда конкретна, одни и те же идеи, высказанные в разных исторических ситуациях, имеют совершенно разный смысл. Остается доказать, что историческая ситуация изменилась настолько, чтобы превратить вполне конкретные политические идеи в их противоположность...

Вместо того, чтобы прямо сказать, что в споре с Лениным Каутский был прав, что "ренегатом" марксизма был вовсе не он, а бланкист и якобинец Ленин, еврокоммунисты вынуждены доказывать, что Ленин был прав в 1918 году, а в 1978 году правы те, которые повторяют старые аргументы Каутского. В этих утверждениях еврокоммунистов также нет ничего нового: многие социал-демократы в период между двумя мировыми войнами готовы были признать правоту Ленина для

России и утверждали, что для Запада требуется иная тактика. Все аргументы о разных путях к социализму — революционном для России и демократическом для Запада — заимствованы у европейских социал-демократов той эпохи. Ленинизм же, как известно, хотел быть "образцом тактики для всех". Различие путей к социализму, которое признавал и Ленин, отнюдь не предполагало возможности обойтись в какой-либо стране без диктатуры пролетариата.

И при всем этом еврокоммунисты ни за что не хотят признать себя социал-демократами. Психологически это вполне понятно. Ни одна партия не может совершенно отказаться от своего прошлого, от того, что составляет самый смысл ее существования.

Ведь если признать, что Ленин ошибался в своей непримиримой борьбе против социал-демократии, следует признать и то, что раскол социалистического движения был роковой ошибкой, а существование коммунистических партий вряд пи может быть оправдано какими-либо соображениями. Но если психологически стремление коммунистов Западной Европы оправдать свое отдельное существование легко объясняется, то логически оно едва ли может быть обосновано, исходя из тех идейных положений, которые приняты ими в качестве программных.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ИЛИ КОММУНИСТЫ?

Тот факт, что с чисто теоретической точки зрения еврокоммунизм представляет собой разновидность социал-демократии, говорит лишь о том, что такая абстрактная точка зрения совершенно недостаточна для правильной оценки реальных политических движений. Несмотря на то, что коммунистические партии являются строго-идеологическими партиями, доктринальные соображения всегда играли в их политике подчиненную роль. С тех пор, как Сталин превратил Коминтерн в послушное орудие советской внешней политики, резкие идеологические повороты стали обычным явлением в истории коммунистических партий. После прихода

нацистов к власти в Германии Сталин приказал компартиям отказаться от сектантской политики, третировавшей социал-демократию как главного врага, как "социал-фашизм", систематически подрывавшей устои демократии и фактически прокладывавшей путь фашизму. Эту самоубийственную политику сменила политика "народного фронта", рассчитанная на сотрудничество с демократическими, антифашистскими силами.

Догматики коммунизма, вроде Троцкого, усмотрели в новой политике Коминтерна предательство интересов рабочего класса и "меньшевизм". В действительности же, поворот политики международного коммунизма по приказу из Кремля ничего не изменил в его природе.

Для тех, кто верит в магическую власть лозунгов и программ, политика "народного фронта" означает отказ от революционной тактики, выработанной Лениным и его соратниками, опасное сближение с социал-демократией. Но для тех, кто понимает, что коммунизм в его сталинской фазе представлял собой не столько идею, сколько орудие великодержавной политики Советского Союза, поворот линии Коминтерна выглядит вполне логичным и последовательным. Во время Второй мировой войны Сталин не постеснялся единым росчерком пера распустить Коминтерн, чтобы после ее окончания в связи с разрывом военного альянса восстановить его подобие в виде Коминформа.

В сущности, первые шаги к созданию идеологии еврокоммунизма делались еще при жизни Сталина с его одобрения. Программа коммунистической партии Великобритании, принятая в начале 50-х годов, содержала положение о мирном, парламентском переходе к социализму. После смерти Сталина XX съезд КПСС дал этому ревизионистскому тезису официальное утверждение. Мирный переход к социализму был признан законным предметом стремлений коммунистических партий Западной Европы. В подтверждение этого тезиса коммунисты ссылались сначала на опыт таких восточноевропейских стран, как Чехословакия.

Лишь по мере того, как западные коммунисты обретали

смелость критиковать Советский Союз, они начинали понимать, что подобные исторические прецеденты вряд ли могут способствовать их успехам на выборах. Поэтому они стали рассматривать свою программу мирного перехода к социализму вне всякой связи с историей восточноевропейских стран. Они предпочли ссылаться на собственные национальные традиции.

Китайские "догматики" в своих первых нападках на просоветские компартии не преминули обвинить сторонников мирного перехода в забвении основ ленинизма. Между тем, они, коммунисты Западной Европы, были последовательны в своем оппортунизме, принципиальны в своей кажущейся беспринципности. Ибо высшим принципом международного коммунизма издавна стал принцип верности любым извивам советской политики, готовность принимать и отстаивать любой тезис, сформулированный непогрешимыми первосвященниками марксизма-ленинизма в Москве. Поэтому даже полная перемена идеологии не означает, что коммунистическая партия превратилась в нечто иное, если эта перемена одобрена высшей инстанцией. С этой точки зрения, социал-демократическая идеология, усвоенная западноевропейскими коммунистами, не означает, что они превратились в социал-демократов. Решающее значение при оценке позиции коммунистических партий Западной Европы приобретает их отношение к Советскому Союзу.

Это отношение далеко не однозначно. Даже самые радикальные еврокоммунисты стремятся представить "сбалансированную" картину советской действительности, соблюсти меру в своих критических высказываниях.

Профессор Элленштейн, который является, несомненно, гораздо более последовательным, а главное, искренним критиком сталинизма, чем лидеры ФКП, членом которой он является, говорит: "Феномен Сталина возник из большевистской революции и расцвел в период социалистического строительства. Благодаря развитию образования и культуры и экономическому росту, советский эксперимент при Сталине сделал вклад в обеспечение того, что демократия будет достигнута в отдаленном будущем. А когда думаешь о феномене Сталина

во время войны, поражаешься тому необычайному факту, что миллионы советских мужчин и женщин, которые были жертвами сталинского террора, сыграли героическую роль в борьбе советского народа. Почему их лояльность не была разрушена? Почему в самом деле Советский Союз не распался под соединенными ударами сталинского правления и нацистской атаки? Потому что базис советского государства был социалистическим и в большинстве отношений независимым от политики людей, которые им правили".

Своему французскому единомышленнику вторит итальянский коммунист профессор Ломбардо-Радиче: "Возникновение советского государства сопровождалось почти непреодолимыми трудностями — внутренними и внешними... Ответом большевиков на эти трудности были централизация и диктатура — этатизм. То, что мы наблюдаем сегодня в Советском Союзе... — это государственный социализм, негосударственный капитализм, но государственный социализм. Защита этой государственно-социалистической системы превратилась в материальный интерес советского руководства и аппарата".

Итак, типичным для еврокоммунизма следует признать отношение к Советскому Союзу как к социалистическому в своей основе государству, в котором существуют, однако, определенные "деформации", преодоление которых диктуется интересами дальнейшего развития социализма. Указываются и социальные силы, заинтересованные в сохранении этих "деформаций". Это — бюрократический аппарат, приобретший огромную власть в эпоху Сталина.

Некоторые еврокоммунисты, в частности, видный член британской компартии Монти Джонстон, утверждают, что социальная система Советского Союза носит объективно социалистический характер, однако политическая власть там принадлежит бюрократии, так что трудящиеся, по существу, отстранены от управления страной.

Эти взгляды весьма близки к тем, которые высказывались в свое время Троцким. Они позволяют занять по отношению к Советскому Союзу позицию одновременно дружественную и

критическую. С одной стороны, еврокоммунисты используют хозяйственные и социальные достижения Советского Союза как доказательство превосходства социализма над капитализмом, с другой стороны, они осуждают нарушения прав человека в Советском Союзе и других "социалистических" странах, преследования инакомыслящих, даже если их взгляды враждебны марксизму и социализму.

"Мы говорили и все еще говорим русским, — заявляет Ломбардо-Радиче, — что преследование, запугивание и высылка даже таких людей, как Солженицын, Амальрик и Буковский, совершенно ошибочны. В социалистическом обществе должна быть полная свобода — иначе оно не может называться социалистическим".

Свобода, согласно утверждениям еврокоммунистов, абсолютно необходима в социально однородном, бесклассовом обществе. Хотя в таком обществе и нет антагонизма классовых интересов, там продолжает существовать многообразие мнений и точек зрения, которым необходимо предоставить возможность свободного выражения хотя бы для того, чтобы обеспечить возможность дальнейшего развития социализма.

Еврокоммунисты подчеркивают, что свобода выражения должна быть предоставлена и противникам социализма, хотя они полагают, что те едва ли найдут себе много сторонников. "Пусть Солженицын совершенно свободно возвращается в Советский Союз, — говорит Ломбардо-Радиче, — и пусть он говорит со всей силой, присущей ему, что Советский Союз должен возродить Святую Русь и авторитарное правление. Он не представлял бы никакой опасности для социализма, абсолютно никакой опасности".

Еврокоммунисты полагают, что в годы хрущевской "оттепели" Советский Союз вступил на путь подлинной демократизации, которая была потом насильственно прервана. Они заявляют о своей солидарности с теми из советских диссидентов, которые критикуют режим изнутри, с позиций социализма. Итальянские коммунисты охотно публикуют в партийном издательстве произведения советского еврокоммуниста Роя Медведева. Они активно поддерживают социалистическую оп-

позицию в Чехословакии и других восточноевропейских странах. Пражская весна 1968 года, задушенная под лживым лозунгом защиты социализма, служит еврокоммунистам в качестве образца тех реформ, которые они хотели бы видеть осуществленными в странах советского блока. Они утверждают, что прогресс социализма невозможен без готовности идти на определенный риск. Такой риск связан с демократией.

Еврокоммунисты отвергают однопартийную систему. Плюрализм, о котором они говорят, не является той лжемногопартийностью, которая существует в некоторых восточноевропейских странах. Даже французские коммунисты признают сегодня необходимость сохранения подлинно многопартийной системы западного образца. "Партия, все политические партии должны быть независимы от государства, — говорит Элленштейн. — Это необходимое условие демократии. Государственная партия была бы во Франции так же уродлива и невыносима, как и государственная церковь. Мы хотим демократии более, чем мы хотим социализма".

Может быть, лидеры ФКП и не разделяют этих взглядов Элленштейна, однако они вынуждены открыто соглашаться с ними и защищать своего товарища от нападок московских держиморд. Это само по себе является важным признаком изменения лица французской компартии, которая еще недавно была самой сталинистской и догматической в Европе, а теперь соревнуется в либерализме с партией Берлингуэра.

В своей защите многопартийной системы еврокоммунисты идут дальше чехословацких реформаторов 1968 года. Если либерализация, развернувшаяся под контролем стоящей у власти коммунистической партии и не таившая в себе никакой опасности для социализма, вызвала панический страх советских правителей, неудивительно, что декларируемый еврокоммунистами демократизм заставляет их чувствовать себя весьма неуютно. Однако Советский Союз не может послать танки в Париж или Рим, а громогласная анафема еретикам не отвечает в сложившихся условиях его интересам. Поэтому Советский Союз вынужден оставлять безнаказанными возмутительные факты вмешательства в свои внутренние дела, вроде протестов против преследования инакомыслящих и т.п. Эти факты тем более непростительны в глазах советских вождей, что критика в их адрес исходит от тех, кого они привыкли рассматривать как своих послушных подчиненных.

Вообще говоря, еретики всегда вызывали больший гнев церковной иерархии, чем откровенные безбожники, а оскорбление из уст слуги представляется более возмутительным, чем оскорбление из уст равного по социальному положению. Советские лидеры все больше ощущают себя принадлежащими к кругу респектабельных бизнесменов и консервативных буржуазных политиков. С ними, а не с много о себе воображающими левыми интеллигентами они предпочитают иметь дело. Их они понимают, а интеллигенты чужды и враждебны их кастовому сознанию.

Впрочем, еврокоммунисты не спешат рвать с московской верхушкой безоговорочно. Они продолжают рассматривать Советский Союз как форму социализма, пусть искаженного под влиянием русской отсталости. Они верят, что в руководстве КПСС имеются силы, пока еще неизвестные, но способные стать инициаторами демократизации Советского Союза. Это умозрительное предположение подкрепляется ссылками на экономический и социальный прогресс СССР, который должен, по их мнению, привести к появлению таких сил с необходимостью, источник которой, по-видимому, в историческом оптимизме, присущем марксистскому мировоззрению.

Во всех этих взглядах еврокоммунистов нет, в сущности, ничего специфически коммунистического. Подобные представления о социальной природе и будущей эволюции советского государства высказывали еще в 30-е годы некоторые левые социалисты на Западе, в частности, такие видные представители так называемого австромарксизма, как Ю. Бауэр и М. Адлер. Уже в ту эпоху, отдаленную от нас огненной бурей Второй мировой войны, оптимистические прогнозы критически настроенных друзей Советского Союза вызывали протест

со стороны более проницательных представителей европейского социализма, вроде К. Каутского и некоторых русских меньшевиков.

Главный порок оптимистических теорий состоит в непонимании того, что диктатура и бюрократизм в коммунистических странах не представляют собой исторически случайных "деформаций" социалистического в своей основе общества. Они выражают самую сущность новых эксплуататорских отношений в обществе, претендующем на то, что оно ликвидировало эксплуатацию человека человеком. Это новое классовое общество, которому разные исследователи дают различные названия /"государственный капитализм", "бюрократический коллективизм", "этатизм"/, основано на тотальной государственной монополии на средства производства, логическим следствием которой является политическая диктатура.

В условиях государственной монополии смена лиц, стоящих у власти, равносильна экспроприации собственников средств производства. Поэтому демократия, подлинная многопартийность представляют собой отрицание самых основ системы и не могут быть терпимы.

На пути к демократизации общества советского образца стоят гораздо более серьезные препятствия, чем это представляется теоретикам еврокоммунизма. Еще в 1919 году Каутский писал, что большевистская национализация промышленности создала новый класс, соединяющий в своих руках политическую и экономическую власть над обществом. За десятилетия господства этого класса в СССР его власть консолидировалась, а идеология стала консервативной. Свои привилегии он защищает и будет защищать, используя все сконцентрированные в его руках средства насилия.

Вряд ли теоретикам еврокоммунизма совершенно чуждо понимание подлинной природы советского общества. Самые радикальные из них высказывают мысль о несоциалистическом характере советского государства. До сих пор только испанская компартия сформулировала нечто вроде программного изложения еврокоммунистической ереси. Однако представление о том, что прогресс социализма в Советском Союзе

сдерживается интересами правящего слоя, разделяется почти всеми ее представителями.

С. Каррильо высказал в своей неоднократно переиздававшейся книге "Еврокоммунизм и государство" ряд мыслей о социальной природе советского государства, которые, несомненно, выходят за рамки коммунистической идеологии, понятой в самом широком смысле. Не случайно, что его идеи вызвали открытые нападки в советской и просоветской печати. Социалистическая революция, — говорит Каррильо, — произошла в России, экономически отсталой стране, в которой отсутствовали необходимые предпосылки социализма. Советскому государству пришлось решать задачу первоначального накопления — задачу, которую в других странах решал капитализм свойственными ему методами. Эти методы пришлось перенять и Советскому Союзу, что не могло не повлиять на характер советского государства. Кроме того, изоляция Советского Союза и угрожавшая ему военная опасность заставили его проводить индустриализацию в особенно быстром и обременительном для народа темпе. Сталинизм является неизбежным результатом попытки построить социализм в одной, к тому же отсталой, стране. Каррильо отказывается от сталинской теории, согласно которой построение полного социализма в одной стране возможно и фактически осуществлено в СССР. Советское государство, по его мнению, есть не социалистическое, но и не капиталистическое государство, а нечто переходное, подобно тому, как абсолютная монархия представляла собой государство, возникшее в период перехода от капитализма к социализму.

Идеи, которым дал выражение Каррильо, совсем не новы. Еще в начале 30-х годов видный австрийский социалист Ф. Адлер в статье "Сталинский эксперимент и социализм", представлявшей собой попытку осмыслить успехи пятилетки с точки зрения социал-демократии, писал о том, что советская индустриализация есть не строительство социализма, а процесс первоначального накопления в рамках государственного капитализма. Эта оценка не мешала ему, как и другим представителям австромарксизма, занимать по отношению к Со-

ветскому Союзу дружественную позицию, что вполне понятно, принимая во внимание условия небывалого по силе капиталистического кризиса и рост фашизма в странах, бывших цитаделью социал-демократии.

Независимо от того, правильны или ошибочны теории, развиваемые Каррильо, они свидетельствуют о том, что он пересек рубеж, отделяющий коммунизм от социал-демократии, поскольку его отношение к Советскому Союзу отнюдь не является открытой или замаскированной апологетикой господствующих там порядков. В этом смысле его взгляды можно признать самым последовательным выражением основной тенденции в еврокоммунизме.

"Другой характеристикой еврокоммунизма является дистанция, которую он соблюдает между собой и социализмом советского типа, — говорит товарищ Каррильо по партии Мануэль Аскарате. — Здесь не место восстанавливать историю тех причин и процессов, которые привели к тому, что первая в мировой истории социалистическая революция превратилась в авторитарный режим, в деспотизм, при котором власть недемократическим образом сконцентрирована в руках небольшого ядра. Результатом этого явилось противоречие между буквой социалистического принципа, согласно которому рабочие являются хозяевами государства, и реальной советской практикой, которая означает, что трудящиеся массы, если и не эксплуатируются таким же образом, как в капиталистических странах, тем не менее, лишены свободы и отчуждены — некоторым образом даже угнетены, так что государство в Советском Союзе сохраняет многие из типичных черт капиталистического государства. Это государство используется меньшинством, которое присвоило себе некоторые кричащие привилегии, для того чтобы править огромной массой народа".

Итак, анализируя критические высказывания некоторых представителей еврокоммунизма в адрес Советского Союза, необходимо прийти к выводу, что еврокоммунизм невозможно признать подлинным коммунизмом в том единственно реальном смысле этого слова, который был определен

выше — в смысле служения внешнеполитическим интересам Советского Союза. Еврокоммунизм еще не превратился в подлинную социал-демократию, однако в некоторых, наиболее радикальных своих проявлениях он фактически не отличим от нее, по крайней мере, от ее левого крыла.

ТАКТИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ?

"Какая наивность! — восклицает читатель. — Еврокоммунизм — это волк в овечьей шкуре. Коммунистические партии Западной Европы просто прикидываются социал-демократами и даже позволяют себе вольное отношение к советским порядкам только для того, чтобы обмануть простодушных избирателей и прийти к власти с помощью их голосов. А уж тогда они покажут, чего стоят их обещания сохранять многопартийность и право на оппозицию. Не в первый раз коммунисты прикидываются респектабельными демократами. Поразительно, как легко дают себя обмануть левые интеллигенты. Они, по-видимому, просто хотят быть обманутыми"...

В пользу соображений такого рода можно привести много доводов. Одним из них является то, что вся демократическая фразеология еврокоммунистов никак не отражается на внутренних порядках этих партий. Они остаются такими же бюрократическими, не терпящими внутренних разногласий, какими они были в сталинское время. Это справедливо даже относительно итальянской компартии, а уж о французской и говорить нечего. Характерный штрих — съезд ФКП принял решение об устранении из программы важнейшего положения о диктатуре пролетариата, бывшего в течение многих лет одной из главных догм коммунизма, единогласно — как принимается вообще все решения в партиях сталинского типа. Во главе французской компартии стоят сталинисты Марше и Канала, воспитанные Торезом в духе беспрекословного подчинения приказам Москвы. Неужели они могли настолько измениться, что их демократические декларации можно принимать всерьез?

Эти возражения, несомненно, следует признать серьезными

и заслуживающими внимания. Однако история коммунистических партий в разных странах неопровержимо свидетельствует, что эволюция этих партий в результате внутренних разногласий возможна. Разве не кричали когда-то "ура" Сталину Имре Надь и Дубчек? Если взгляды отдельных членов компартий могут претерпевать эволюцию, почему это не может произойти и с позицией целых партий? Пресловутое единство мирового коммунистического движения давно превратилось в фикцию. Попытки Москвы восстановить хотя бы видимость единства коммунизма никого не могут ввести в заблуждение. Вопрос состоит не в том, возможна ли эволюция коммунистических партий /она, несомненно, возможна/, а в том, что реальность этой эволюции главных коммунистических партий Западной Европы вызывает обоснованные сомнения.

Когда рассматриваешь обвинения, выдвигаемые против еврокоммунизма с разных сторон, поражаешься их странной симметричности. И московские, и западные противники еврокоммунизма видят в нем лишь тактический прием, хитрую уловку, призванную служить интересам иностранных хозяев. Только в одном случае этими хозяевами признаются американские империалисты, а в другом — кремлевские диктаторы. Поскольку еврокоммунизм не может одновременно быть слугой этих двух господ, остается предположить, что он в действительности не служит ни тому, ни другому. Сила еврокоммунизма — в его национальных корнях. Большие компартии Западной Европы давно обнаружили, что для них единственная возможность выйти из тупика, в котором они пребывали уже много лет, и сколько-нибудь существенно увеличить число своих сторонников на выборах, — это продемонстрировать наглядным образом несправедливость утверждения, что они защищают не интересы трудящихся своих стран, а интересы чужой державы.

Нет никакого сомнения, что тактические соображения играли важнейшую роль при зарождении новой линии компартий Западной Европы. Но так же несомненно и то, что новая линия оказывает могущественное влияние и на характер этих компартий. Итальянская компартия крепко связана со

всей политической системой страны, с определенными кругами в итальянском обществе, пользуется поддержкой значительной части интеллигенции и среднего класса. Она вросла в живую ткань итальянского общества, является его неотъемлемой частью. В высшей степени трудно представить себе, что эта "обуржуазившаяся" партия окажется способной проводить радикальную, революционную политику. И не случайно террористы, которые, как мухи, плодятся в гниющих отбросах итальянского общества, пораженного хронической болезнью, с которой не в силах справиться нынешний режим, видят в "разжиревших коммунистах" своих врагов и не проводят принципиального различия между ними и буржуазными политиками. Может ли такая партия стать партией тоталитарной диктатуры? По мере того, как она все дальше отходит от Москвы, открыто заявляет о своих разногласиях с ней, такая возможность становится все менее вероятной. Я не стал бы, конечно, рекомендовать итальянским избирателям проверить искренность демократических заверений коммунистов единственно возможным практическим способом — позволить им возглавить правительство. Но я и не уверен, что, если Берлингуэру удастся осуществить свою мечту об "историческом компромиссе", итальянская демократия и вся система обороны Запада окажутся в смертельной опасности. Едва ли Берлингуэру хочется разделить судьбу Дубчека.

Принятие западноевропейскими коммунистами социал-демократической по существу идеологии не может в конце концов не сказаться и на внутренней структуре этих партий. Можно наблюдать постепенное смягчение партийной дисциплины, появление на поверхности скрытых до того разногласий между различными течениями в рамках этих партий и т.д. Сопротивление старого аппарата здесь особенно сильно. Однако радикальное крыло еврокоммунистов, представленное во Франции такими интеллектуалами, как упоминавшийся выше профессор Элленштейн, и особенно сильное в Италии, борется за демократизацию внутрипартийной жизни, защищает право меньшинства формулировать и отстаивать перед

партийным форумом точку зрения, расходящуюся в мнением большинства.

Правые критики еврокоммунизма демонстрируют негибкость своего мышления, когда видят в новых теориях лишь тактический прием с целью обмануть избирателя и продать ему старый товар в новой упаковке. Еврокоммунизм — гораздо более сложное явление. Мы являемся свидетелями разложения коммунизма как мирового движения, его превращения в целый ряд различных движений с диаметрально противоположными целями и разной идеологией. До поры до времени различные течения могут сосуществовать в рамках одной партии. Однако дальнейшая поляризация течений в рамках коммунизма, по-видимому, неизбежна.

ЕВРОКОММУНИЗМ И ДЕТАНТ.

В годы холодной войны Морис Торез сформулировал лозунг: "Французский народ никогда не будет воевать против Советского Союза". Тем самым он открыто провозгласил коммунистов партией национальной измены, пятой колонной, агентурой потенциального врага. Огромная дистанция отделяет позицию современных коммунистов Западной Европы от этого откровенного прислужничества перед Москвой. Еврокоммунизм сформировался в условиях разрядки напряженности между блоками и всю свою тактику строит на продолжении этой разрядки. Еврокоммунисты заявляют — и не без основания, — что военное столкновение между СССР и США представляет собой весьма маловероятную возможность, и поэтому вопрос о том, какую позицию займут компартии в случае такого столкновения, лишен всякого смысла. Если же такая возможность все же реализуется, то еврокоммунисты будут бороться прежде всего за мир.

Трудно ожидать от еврокоммунистов поддержки оборонительных усилий Запада, пока их отношения с Советским Союзом основываются на поддержке, хотя и не безоговорочной, внешней политики этой "страны победившего социализма". Ясное понимание империалистической сущности внешнеполитических целей этой сверхдержавы, связанное с окончательным изживанием иллюзий о социалистическом характере ее общественного строя, является необходимым условием того, чтобы коммунистические партии Западной Европы стали интегральной частью свободного мира, а не чужеродным телом в нем.

Одной из причин, по которым Советский Союз не готов идти на окончательный разрыв с еврокоммунизмом, является то, что в современных условиях советская экспансия направлена главным образом против стран Третьего мира, а в отношении Западной Европы Советский Союз готов удовольствоваться ее "финляндизацией".

Нейтрализм еврокоммунистов, при условии их вхождения в правительство, может парализовать НАТО как эффективную систему обороны, даже если страны, в правительства которых входят коммунисты, и останутся номинальными членами НАТО. Здесь кроется причина того беспокойства, которое проявляли США по поводу возможного прихода коммунистов к власти в Италии. Но готовы ли другие партии Западной Европы к активному участию в оборонительной акции в случае советского вторжения? Это в высшей степени проблематично. И поэтому Советский Союз все меньше и меньше проявляет заинтересованность в приходе коммунистических партий к власти в странах Западной Европы. Из помощников Советского Союза они все больше превращаются в обузу для него. А это в огромной степени способствует их освобождению от остатков прежней зависимости от советской поддержки. Коммунистические партии Западной Европы стоят на перепутье. Но если еврокоммунизм окончательно европеизируется, он перестанет быть коммунизмом и станет разновидностью социал-демократии.

Эмиль КОГАН

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХА И ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Политическая психология Солженицына *

В послесловии к "Августу четырнадцатого" — роману, открывающему многосерийную историческую эпопею, Солженицын сообщает, что всегда ее понимал "как главный замысел жизни". А всю прозу "легального", да и "нелегального" периодов, то есть от "Ивана Денисовича" до "Архипелага", — как своего рода крюк, вынужденное отклонение от основного предмета, осознанного таковым уже в 1936 году, когда ему исполнилось 18 лет. Поистине, "вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой".

Слава и почитание застали Солженицына в расцвете творческих сил, когда свидание это уже больше нельзя было откладывать: сейчас или никогда. Солженицына ожидало грандиозное историческое полотно, нечто вроде "Войны и мира" двадцатого столетия, перед которым все предыдущее меркнет и выглядит этюдным наброском, "кружным путем".

* *Главы из одноименной книги.* Copyright *автора.*

И все же ситуация курьезная, если учесть, что "отвлекаясь на другие книги", писатель обрел редкостный материал, мудрость и несгибаемость зэка, нобелевское имя, попал в первый десяток наиболее авторитетных людей планеты и открыл на ней новый "архипелаг", между тем как главное произведение не снискало столь же единодушного признания.

Впрочем, читательский и писательский суд часто не совпадают, и время — единственный непогрешимый арбитр, не обязательно решает в пользу читателя-современника.

Наконец из обещанного множества томов в целом и законченном виде появился всего один, и тот, не успев покрасоваться на международных книжных прилавках, снова оделся в леса, ушел в доработку и переделку. Так что не будем спешить с оценками. Запасемся дыханием, нам предстоит длинный совместный путь. "Двадцатилетняя работа"* Солженицына дает лишь первые плоды. Молодой читатель придет к финалу эпопеи уже не мальчиком, а мужем, муж — стариком. И ранние тома успеют стать дважды историческими.

Завершив "Архипелаг", Солженицын разделался с неотложными долгами, и теперь его ничто уже не "отвлекает" от основного назначения. Будущее уводит его в прошлое, из прошлого он слышит будущего зов, оставаясь при этом у времени в плену, не переставая быть самым актуальным и острым писателем отечественной современности.

РЕВОЛЮЦИОНЕР ИЛИ ПРОРОК КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

До "Августа" художественное и публицистическое у него выражалось порознь. Мы знаем Солженицына-художника, создавшего панорамное изображение, энциклопедию сталинской послевоенной действительности. И Солженицына-трибуна, возмутителя мирового спокойствия, шокирующего своими выступлениями даже умеренно-прогрессивное западное целомудрие.

*Из послесловия к русскому изданию "Августа четырнадцатого", ИМКА-гюесс. Паоиж. 1971.

Этот второй Солженицын обнаружился сравнительно недавно, когда мировой читатель уже привязался и проникся любовью к первому. В чувствах массового читателя произошла некоторая заминка. И кое-кто на Западе даже захлопнул в праведном гневе его книги.

Других же, и таких, слава Богу, большинство, ничто уже не могло отвратить от "Архипелага ГУЛага". Тем более что левая и объективная критика помогла им сориентироваться в новой обстановке. Читателю было предложено отличать Солженицына безусловного, воскресившего из небытия миллионы загубленных, певца лагерных и народных восстаний и, стало быть, писателя революционного, от пророка контрреволюции и реакционной Кассандры.

Мне, русскому зрителю, такое благонамеренное раздвоение писательской личности сразу напомнило нашу революционно-народническую, а затем и советскую привычку противопоставлять достоверность Гоголя, Тургенева, Достоевского, Бальзака их "консервативным", "правым" взглядам. Правдивые картины жизни выходили из-под их пера всегда "вопреки" и "несмотря", а взгляды просто отметались с порога как наивные, безответственные, опровергаемые самим же их творчеством. С писателем обращались как с талантливым, но капризным и дурно воспитанным ребенком, правильно понять которого нечего было и пытаться без консилиума передовых профессоров и критиков.

Пример Достоевского поучителен в этом отношении. Не прошло и полувека, как "реакционные", "апокалиптические" предвиденья обернулись жесточайшей исторической реальностью, а критика его гонителей и толкователей — выражением косной и агрессивной общественной морали, неспособностью вырваться на волю за красные флажки идеологических стереотипов.

Предложение вынести за скобки солженицынского деяния все, что мешает и раздражает, и закрыть на это глаза, — не рискует ли через какой-то исторический срок оказаться тем же поспешным диагнозом? А то, что воспринимается сегодня "фальшивыми лозунгами" и "ложными истинами" и что должно "со временем развеяться как дым"*, не выйдет ли на поверку глубокими и неискоренимыми убеждениями романиста?

Вышедший в 71 году "Август четырнадцатого" со всей прямотой отвечает на последний вопрос. В романе сливаются в нерасторжимое целое художественный и публицистический потоки солженицынского сознания, и в этом смысле эпопея открывает принципиально новую страницу в творчестве писателя. Его идеи и пророчества превращаются в живую плоть образов, судеб и ситуаций и смеются над алхимией расщепления и куцыми прогнозами доброхотов.

В художественной лаборатории эпопеи подвергаются испытанию на жизнестойкость основные солженицынские мысли, и результаты этой работы восстанавливают расколотое в нашем представлении единство "Матрениного двора", "Архипелага ГУЛага" и философско-политических статей писателя.

СОЛЖЕНИЦЫНСКОЕ "ПРЕВРАЩЕНИЕ"

Но возникает другой вопрос. Как могло случиться, что проза 60-ых годов не подготовила читателя к вытекающему из нее позднему Солженицыну? Не причиной ли тому идейная эволюция или даже крен в его мировоззрении? Сам Солженицын уверяет в автобиографических очерках "Бодался теленок с дубом", что до поры до времени скрывал истинные взгляды, чтобы не выдать себя с головой, чтобы выиграть время для сбора материалов к "Архипелагу" и "Ленину в Цюрихе" у себя на родине.

Известные нам "Прусские ночи", где советская армия ведет себя в захваченной Пруссии ничуть не лучше немецкой в оккупированной России, и неизвестный "Пир победителей", отпечатанный и распространенный служебным тиражом КГБ среди партийной и писательской верхушки, чтобы скомпрометировать автора всеми признанного "Ивана Денисовича", подтверждают его объяснение.

---

*"Монд" от 10 марта 1976 г.

И однако же читатель не верит, что его водили за нос, что автор ловко припрятывал от него нечто главное. Искусство не позволяет художнику оставлять что-либо про запас, маскировать второе дно. Солженицын, думается, всегда был самим собой и выкладывал себя полностью, всякий раз ставя планку на максимальную высоту своих и общественных возможностей.

Суть солженицынского "превращения" в ином. И путь его не отмечен ни креном, ни лукавством, хотя писатель сейчас и не прочь разъяснять свой прошлый труд как педагогическую прогрессию.

В "Иване Денисовиче", рассказах и первых двух романах кредо писателя умещается в двух словах: гуманизм и антисталинизм. Такой Солженицын устраивал всех. И папу римского, Павла VI, зачитывавшегося "Раковым корпусом", и еврокоммунистов, черпавших в творчестве писателя доказательство десталинизации России.

Солженицына нельзя было даже отнести к врагам социализма. Под нравственным социализмом Шулибина мог бы подписаться и Вилли Брандт, и тот же итальянский коммунист.

Конечно, критика писателя была не просто критикой действительности в духе XIX века, но критикой действительности, побившей все рекорды бесчеловечности. Тем не менее, поскольку действие почти всехего произведений обрывалось перед XX съездом, композиционно создавалось ощущение надежды, не отвергался свет в конце тунеля.

Это обеспечивало Солженицыну впечатление умеренности за рубежом и легальность на родине. И власти, даже отказавшись издавать писателя, все же ограждали его от чрезмерных нападок цепной прессы, как бы сохраняя в резерве предполагаемой либерализации, от которой после XX и XXII съездов не решались сразу и демонстративно отмежеваться.

Композиционный ход Солженицына, общий, между прочим, для всей либеральной советской литературы, был не тактической уловкой, но стратегией надежды.

В начале шестидесятых годов Россия стояла на перепутье.

Демократические посулы Хрущева, отмена диктатуры пролетариата чередовались со ждановскими угрозами и порождали смятение и недовольство. Одни опасались утерять контроль над ситуацией. Другие горели нетерпением и осознавали, что бушевание в стране антисталинского лексикона не поколебало основ сталинского бытия, что Сталина предают анафеме те, кто вчера воскуривал ему фимиам.

Положение в первую годовщину падения Хрущева напоминает постфранкизм. Ждали, кто возьмет верх, "бункер" или "ленинская демократизация". Если бы победителем вышел социализм с человеческим лицом, то излюбленный аргумент Леонида Плюща и многих других, что Христос, дескать, не отвечает за инквизицию, имел бы больше шансов на успех, при всем при том, что в счет новой веры пришлось бы списать не менее шестидесяти миллионов жизней, и при всем при том, что победа демократии в Испании не реабилитирует, надо думать, в глазах Плюща сорокалетнее царствование христианина Франко.

Но победителем вышел аппарат. Последний всплеск искренней веры: "Ленин, проснись! Они сошли с ума!" — утонул в грохоте советских танков по Пражской мостовой. Восточная Европа второй раз похоронила Ленина и на этот раз — навсегда.

Не поспешили ли с похоронами и не было ли это погребением заживо, судить не берусь. Я просто констатирую, что похороны состоялись, на правах вернувшегося с них (до 68 года я жил в Москве и работал в газете).

Ленин — друг, товарищ и великий гуманист, ставящий на творческую энергию масс. Ленин — демократ, прибегавший к террору как к крайней необходимости, а не как к постоянному допингу. Ленин — сама противоположность Сталину. Подчищенный и прилизанный Ленин из "Синей тетради" Э. Казакевича (1960 г.), — этот Ленин словно по мановению руки исчез со страниц советской литературы. Опустел его мавзолей. Публика повалила в Храм. Там ее уже ждал Солженицын. Трезвый и саркастичный, расставшийся с последними иллюзиями, избавленный от хитроумных правил подцензурной

игры, эвфемизмов и недоговоренности. Ждал со своей версией Антихриста, Искусителя.

КРУШЕНИЕ НАДЕЖДЫ

В условиях идеологического оледенения, последовавшего за Пражской весной, ему уже было нечего терять и невозможно молчать. Неисправимость режима стала слишком явной очевидностью. И хотя Солженицын заговорил позже других, его голос оказался громче и доходчивее всех прозвучавших до него голосов.

Крепчала травля, возрастал от заявления к заявлению радикализм Солженицына, пока не достиг святотатственной мощи "Архипелага". Солженицына "спровоцировали", и случай его типичен. Надежда Мандельштам признается в воспоминаниях, что стихи мужа были отправлены к иностранному издателю, когда угасла всякая вероятность их советской публикации.

Как видно, не с легким сердцем идут писатели на разрыв с постылой родиной. Горек хлеб пророка в чужом отечестве. Их больше устроил бы иной исход для себя и страны.

И если бы за этот иной исход пришлось бы платить известной сдержанностью, необходимостью считаться с рядом табу, избегать публичного поношения государственных кумиров и священных догм, не думаю, что в связи с этим обнаружились бы непреодолимые проблемы.

В 63 году, когда все были либералами, в "Новом мире" появился рассказ Солженицына "Для пользы дела", вершина советской либеральной прозы. В нем автор осудил беззастенчивую эксплуатацию бюрократией молодежного энтузиазма, утверждал идею (свежо предание, а верится с трудом!) творческого демократического социализма, дух которого не выветрился и в последнем, предназначенном для легальной печати произведении ("Раковый корпус").

В "Теленке" и в "Архипелаге" Солженицын с иронией отзывается о своих попытках ассимиляции. И тем не менее, они, как говорится, имели место и были искренними и убедительными.

Солженицын — великий реалист. И он выражает наиболее приемлемый и осуществимый вариант миропорядка, к которому в настоящий момент склоняется его немое отечество.

Либеральные проекты, мечты о возвращении к революционным источникам хрустнули в клещах "нормализации" — Солженицын ищет спасения в христианской государственности, основанной на самодисциплине, раскаянии и справедливости, в ней видит самую надежную и верную дорогу в лучшее будущее. И его не останавливает, что проект этот выглядит за рубежом "средневековой славянской утопией"*. В России "Письмо вождям Советского Союза" было воспринято многими как самый реалистический и прагматический документ советской истории.

Сравнивая статьи Солженицына со статьями его единомышленников по сборнику "Из-под глыб", мы находим их наиболее умеренными и ответственными.

Представлять его Герострaтом, сжигающим старые мосты и бешено возводящим химерические новые, — несправедливо и ошибочно.

Вспомним, сколько переполоху наделала в нашем западном прогрессистском курятнике серия интервью писателя, прокатившаяся в 76 году по американскому и европейскому телевидению.

Возмущению не было конца. Даже правые перепугались его медвежьего натиска. Даже газета "Монд" вынуждена была взять Солженицына под защиту, отстаивая истинного Солженицына от Солженицына сенсационного, разменивающего свое высокое назначение на непродуманные, театральные выходки**.

Но вот наступил 77 год, год новых философов. И что же? После них речи Солженицына звучат теперь едва ли не общим местом. Критик из "Нувель Обсерватер", еще вчера усматривавший в "Ленине в Цюрихе" недопустимое покушение на всю и всяческую революцию***, уже участливо коммен-

---

*Статья редактора "Нувель Обсерватер" Жана Даниеля. № 592, 15 марта 1976 г.

**Уже цитированная статья из "Монда" от 10 марта 1976 г.

***"Нувель Обсерватер", № 583, 12 января 1976 г.

тирует книгу Б. Леви* считающего себя последователем Солженицына. Оказывается, не стоит "издавать победные крики каждый раз, когда где-либо в мире трясется земля"**.

С идеями Солженицына случилось то же самое, что и с мини-юбками. Они производили скандал в первый сезон, а в следующем в них щеголял весь Латинский Квартал, не боясь обнажить костлявые маоистские коленки.

Солженицын не зачинатель моды. Он явление слишком серьезное и независимое, чтобы вписываться в какое-либо поветрие. Но его выступления нередко раздаются накануне важного сдвига в общественном сознании на Западе и в России. Это стоит ему ложных обвинений и ложной защиты. Писатель первым принимает на себя удары нашей косности и прогрессивного консерватизма.

И пускай немало из того, что говорит Солженицын, удручает несправедливостью и пристрастием, сбрасывать со счетов все, что он вещает, — неразумно и нерентабельно. Мысль Солженицына, как и всякого незаурядного писателя, следует брать во всей ее полноте, искать и находить противоречия и заблуждения, соглашаться или не соглашаться, но относиться к ней вдумчиво, спокойно и с уважением. Нам это нужно не меньше, чем ему.

Впрочем, эпопея, где слиты воедино художник и публицист, не дает нам возможности поступать иначе. Мир его образов, удачных и менее удачных, неотделим от мира его идей, спорных и бесспорных. Узлы эпопеи спутаны с основными узлами его жизни и с основными узлами его политической психологии.

Новый труд стал для Солженицына началом всех начал, ибо он позволяет проследить и выявить, откуда есть пошла земля советская. Как возник и укоренился в стране тот образ жизни, который он сначала описал при круговом сочувствии мирового читателя. Как зародился он в недрах прежнего общества и как произошло извержение революционной лавы из тела России, изможденной военными неудачами.

* **B.-H. Levy, La barbarie a visage humain, Grasset, Paris,** 1977.

** "Нувель Обсерватер", № 653, 16 мая 1977 г.

Идеи Солженицына так близко подходят к эпической поверхности, что добывать их можно открытым способом. Они лежат перед нами, главные темы солженицынского сознания: ленинизм, революция, ее победа и поражение.

РОДОСЛОВНАЯ РЕВОЛЮЦИИ

Некоторые русские поэты-диссиденты обвиняют Блока и символистов в том, что они накликали беду, разбудили демонов, спящих на дне народной души. Бедных символистов вместе с Марксом повесткой вызывают на суд истории. И не помогают оправдания, что апокалиптические пророчества раздавались в ту пору на любой широте поэтической и философской Европы. В России они сбылись, и суд неподкупно строг. На скамье подсудимых нет свободных мест.

С опозданием на 60 лет (такие дела не закрываются за давностью срока) раскрыты и названы имена виновных. Но сами события, заваленные грудами казенной макулатуры и изысканиями зарубежных попутчиков сталинизма, еще не вполне расчищены, прояснены и зияют недостающими звеньями. Ленин, объявивший населению России гражданскую войну (она не закончилась и по сей день, но ее признаки выдаются за специфику русского пути к социализму), в отличие от Франко, не получал массивной иностранной помощи (после крушения Германии ее неоткуда было ждать). В отличие от Франко, отпихнувшего ногой, как и он, избирательную урну, Ленин имел против себя не арифметическое, а подавляющее — по распространенному в оппозиции убеждению — большинство страны. Как же удалось Ильичу навязать себя, изнасиловать многонаселенную и необъятную державу? Известно, что в первый год, когда не было еще ни мощного аппарата, ни троцкистской армии, ни пропагандистской машины, советская власть держалась на волоске, на смехотворном перевесе малочисленных ружей и рот. И все-таки она продержалась до тотальной мобилизации, и все-таки она выдюжила. Что же помогло ей: рок, нечистая сила, декаденты?

Таинство и победный смысл Октября образует сердцевину

современной проблематики. В нее вклинивается ответ романиста. И читатель только выиграет в понимании солженицынской историографии и последующих томов, ознакомившись с основными точками зрения на революцию, бытующими в русском общественном сознании. С ними перекрещивается, совпадает и спорит действие эпопеи.

Одно из основных течений оппозиционной мысли — писатель квалифицирует его западническим, либеральным — рассматривает русскую историю вечным поединком двух противоположных генетических тенденций: европейской и азиатской, на пересечении которых расположилась географическая Россия.

Европейская тенденция проявила себя в дотатарском гражданском укладе, новгородском вече, в абсолютизме Ивана III, в аристократической фронде VIII века, в думах, в земстве, в Февральской революции.

Азиатская — это татарщина, Иван Грозный, императоры Павел и Николай I. Октябрь — сокрушительный реванш черной традиции над европейскими и демократическими перспективами века, отбросивший страну в тьму времен.

Не его ли предсказал за столетие вперед родоначальник западничества Чаадаев, признанный за то царем сумасшедшим?

"Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-то важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, что мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение."*

А в 1970 г., отчаявшись дождаться этого предназначения, Эдуард Кузнецов с группой товарищей пытается захватить советский самолет. На суде он заявляет:

"Я считаю, что типовая структура политической культуры русского народа может быть названа деспотической. Осознав себя евреем (по отцу, умершему в 41 году и которого Кузнецов не помнит — Э.К.), не ощущая в себе ни склонности к властвованию, ни любви к безропотному подчинению, не питая надежд на радикальную демократизацию

* Журнал "Телескоп", 1836, т. 34, № 15.

в обозримом будущем, я решил покинуть пределы СССР. Бороться с советской властью я считаю делом не столько невозможным, сколько ненужным, так как она вполне отвечает сердечным вожделениям значительной, но, увы, не лучшей части населения".

Было бы ошибочным, однако, мыслить современный русский исторический критицизм лишь в крайне пессимистических и самоубийственных тонах. Чаще всего он вызван гражданской болью, потребностью искоренения дурной наследственности.

Оплотом западничества в шестидесятые годы был журнал "Новый мир". "Типовая структура" отечественного уклада была зафиксирована им на языке Эзопа как византийская. Это означало теократию, беспредельную власть самодержца-первосвященника, поглощение личности государством и отсутствие элементарной законности. Противоположностью ей была западная, римская структура, основанная на праве, писаном и неписаном, на отделении светской власти от духовной. Она позволяла человеку чувствовать себя независимой и социально значимой величиной в пределах своего сословия. Из европейской истории вылупились гуманизм, права человека и демократия.

Новомирская мысль, при всей своей рудиментарности и теоретической наивности,— первая в советской прессе и общественном сознании легальная попытка вырваться из гипса марксистской, официальной идеологии. И она стала идейным подспорьем демократического движения, развернувшегося в конце шестидесятых годов под флагом академика Сахарова.

Солженицын, начнем прямо с этого, не разделяет общих взглядов западничества. Во-первых, из-за аллергии ко всякому детерминизму и политическому структурализму (впрочем, без них он все же не обходится, когда предупреждает о коммунистической угрозе). И во-вторых, национальная гордость не позволяет ему признать Россию рассадником деспотизма ("не такие уж мы рабы, как заплевали нас во всех либерально-исторических исследованиях."**

*Дневники, Les Editeurs Reunis, Париж, 1973, стр. 80.

**Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 30.

Особенно неприятно Солженицыну представление об Октябрьской революции как об осуществлении древней русской мессианской идеи, возникшей из обломков Византии: Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать! В статье "Раскаяние и самоограничение" он пишет:

"...В натяжках и перескоках идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде... Третьего Интернационала! С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то неулавливаем ой цели — и это под соблазнительным видом р а с к а я н и я ! Удары будто направлены по Третьему Риму да мессианству — и вдруг мы обнаруживаем, что ломом долбят не дряхлые стены, а добивают в лоб и в глаз — давно опрокинутое русское национальное самосознание".

В возобновившемся после почти что столетнего перерыва споре между западниками и славянофилами Солженицын берет сторону последних. Ленинскую революцию (вот мы и добрались до нее) он со славянофилами видит триумфом материалистического, безбожного духа, проникающего беспрепятственно в Россию с эпохи Петра и грозящего ей утерей национальной души и самобытности.

Вслед за националистами Солженицын ополчается на безликие города-муравейники, на забвение дедовского языка и обычая, ворчит на современную молодежь в джинсах с ее "магнитофонами и лохмокудрыми девицами", на сексуальную распущенность и распад семьи.

Но писатель слишком велик, чтобы целиком умещаться в одной из партий. Не позволяя никому "оплевывать" Россию, сам он бросает в ее огород вещи похлеще кузнецовских:

"Отчизна наша такова: чтобы на сажень толкнуть ее к тирании — довольно только брови нахмурить, только кашлянуть. Чтобы на вершок перетянуть к свободе — надо впрячь сто волов и каждого батогом донимать: "Понимай, куда тянешь! понимай, куда тянешь!"*

Такого не услышишь от националистов, которые, кстати сказать, весьма прохладно встретили его "Август", найдя безжалостный портрет русской армии несправедливым и неисторичным. Наконец охранительная реакция Солженицына перерастает в широкую и целостную экологическую программу, мало чем отличающуюся от современных западных, но далекую от центра интересов его национальных спутников.

Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 473.

Добавим еще, что национализм писателя не экспансивный, а интенсивный. И ему чужд культурный изоляционизм. Солженицын не участвует в попытках соскоблить с родной культуры влияние модернизма и постреволюционного авангардизма, вытравить из нее следы Маяковского, Бабеля, Мандельштама и всех русских писателей нерусских кровей, угодивших в черный список сегодняшней славянофильской Москвы.

СОЛЖЕНИЦЫН И БЕРДЯЕВ

Другой координатой революционной модели Солженицына служат "Вехи". В одном из своих интервью 76 года писатель набросал либретто революционного процесса в России, где дает себя знать веховское прочтение истории:

"Просвещенный русский царь (Александр II — Э.К.) приступил к реформе, но кучка революционеров, опасаясь, к а к бы народное благополучие пришло не от них, а от царя, провозгласила, что реформы надо проводить и радикальнее, и быстрее, что они не хотят ждать. Они начали террор, охотились за царем-освободителем, к а к за диким зверем, и наконец убили его. А либеральная общественность стала террор приветствовать, сочувствовать террористам и поддерживать их. В результате, и общественность, и правящие круги ожесточились, возникли озлобление и ненависть, правительство перестало давать даже то, что хотело и могло дать, все перспективы мирного развития страны оказались отрубленными... Дальнейшее известно".

На первый взгляд, это довольно точное воспроизведение веховской схемы. Бердяев, например, считает Октябрь синтезом социалистической интеллигенции "в ее максимальных проявлениях" и "русской исторической власти". "Соединив в себе две традиции, которые находились в XIX веке в смертельной вражде, Ленин мог начертить план организации коммунистического государства и осуществить его"**.

* ПОСЕВ, 1976, №5, стр. 28.

**Истоки и смысл русского коммунизма, ИМКА-пресс, Париж, 1955, стр. 99.

Однако внимательно перечитывая Солженицына, мы отмечаем в его тексте важные коррективы. Не опровергая исходных веховских данных, писатель меняет их величины и соотношения. Так, он куда как менее суров к царю и не ставит его, как Бердяев, на одну доску с революционерами. Жестокости царской администрации — детские шалости по сравнению с деяниями ленинской партии и ее предшественников:

"Мы-то теперь, имея подлинную линейку для измерения масштабов, можем смело утверждать, что царское правительство не преследовало, а лелеяло революционеров себе на погибель. Нерешительность, половинчатость царского правительства видны всякому, кто испытал на себе судебную систему безотказную."

Царский режим, по Солженицыну, никак нельзя назвать деспотическим, потому что он был связан по рукам и ногам христианской моралью и общественным мнением, свободно изливавшимся через прессу и думскую оппозицию. Начиная со второй половины прошлого века, со времен Александра II, монархия уже мало что общего имела с "русской исторической властью", с тенью Ивана Грозного. Ее жестокость была лишь бледным ответом на террор революционеров.

И к ним-то романист гораздо беспощаднее веховцев, тоже не питавших к революционерам особой нежности. Но веховцы, по крайней мере, отдавали должное их побуждениям: "Мотивы эти нужно видеть прежде всего в страстном, негодующем протесте против зла и страданий жизни, в сострадании к несчастным, обездоленным, угнетенным"**. И образы революционеров в русской классике соответствуют характеристике Бердяева. Мы находим тут и кающихся дворян, и бунт Ивана Карамазова, возвращающего Богу свой билет, не желающего променять всю гармонию будущего на слезу замученного ребенка. Клинический анализ их душевного состояния поражает бешеным внутренним давлением.

Но "проклятые вопросы", заставляющие мальчиков Достоевского ночи напролет спорить в грязных кабаках о Боге, о

*Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 87.

**"Истоки и смысл русского коммунизма", стр. 35.

вселенском счастье, о мировом братстве, показались бы солженицынским героям недостойной настоящего революционера мелкобуржуазной экзальтацией. В "Августе" они эволюционировали в откровенно одиозный тип. Их душевный мир лишен всякой трагической глубины, он выродился в печатную схему готовых идеологических реле и полупроводников, меняющихся после очередного съезда или конференции.

Из всех великих чувств они сохранили холодную презрительную ненависть: к Богу, церкви, отечеству. И идеологический фанатизм, превращающий любые общественные институты и социальные образования в объекты, подлежащие уничтожению.

ПОД СЕНЬЮ ДРУЖЕСКИХ ШТЫКОВ

Большевизм, уверяли веховцы, "воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризированному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и терпеливому несению страданий, ...воспользовался русским мессианством... верой в особые пути России"*. Солженицын, негодуя по поводу теории "Третьего Рима" и назначая самые жестокие удары ее современным адептам, принимается, в сущности, за Бердяева, от кого и пошла гулять эта "Русская идея".

Писатель меньше, чем кто-либо, верит во врожденный тоталитаризм народа. Ведь максимализм, страстотерпие, способность преобразовать жизнь в духовный подвиг — удел одиночек, праведников, наделенных священной "точкой зрения", и не могут быть характеристикой народа в целом.

*"Истоки и смысл русского коммунизма", стр. 115.

Между прочим, Бердяев указывает на сходство "Третьего Интернационала" с "Третьим Рейхом". Тут бы философу и пересмотреть свою теорию. Ан нет, ведь "национализм всегда был немецким заимствованием на русской почве" ("Истоки и смысл русского коммунизма", стр. 73).

Солженицын не стал бы спорить с другим веховцем, Аскольдовым, что революция пробудила в русском народе зверя, с той лишь оговоркой, что "озверение" охватывает в подобных условиях любой народ, и даже самый цивилизованный.

Марк Ферро, хорошо осведомленный историк русской революции, утверждает, основываясь на многочисленных материалах, что насилие не родилось с Октябрем, что оно предшествовало ему и вихрилось в февральской толпе. Обременяя национальную наследственность советской власти, он тем самым разгружает по мере возможности ответственность большевиков.

Для Солженицына сама постановка вопроса — порочна. Революционеры-то и ожесточали народ, натравливая чернорабочих на инженера-"очкарика", разбрасывая листовки в уборных Путиловского завода, крича: "Долой министров-капиталистов!", призывая солдат воткнуть штыки в землю, а еще лучше — в своих же офицеров, и нести красного петуха домой, в деревню.

Не забудем также, что советская власть никогда или почти никогда не была республикой плебса, обращающей суды линча в народные трибуналы, в виселицы и гильотины общественного правосудия, что позволяет канализировать народную ярость и смягчать постепенно разнузданные революцией нравы. Большевики не ставили такой задачи. И Советы, лишенные тотчас же после Октября всякого суверенитета и выборного характера, не стали и не могли стать гражданской школой.

Расправившись со своими пастырями, народ оказался лицом к лицу с новыми укротителями, помахивающими бичом ЧК и декретов. Власть эта с самого начала воспринималась диктатурой чужих и враждебных народу элементов, диктатурой над ним, по признанию одного же из укротителей. Ее идеологический язык звучал для населения тарабарщиной, и сама она часто выглядела иностранной оккупацией. Недаром "в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны и австрийцы, когда аппарат

ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами"*.

Большевики разбудили в народе зверя, а потом превратили его в зверя затравленного, ничуть не заботясь о его национальной и культурной специфике, которой они не признавали ни за одним из народов, населяющих русскую империю.

В бердяевском противопоставлении русского духовного максимализма западной секуляризованной и атомизированной личности сказываются страх и благоговение барина-интеллигента перед народом, созерцаемым с университетско-философской башни. Они исчезли, когда башню сравняли с землей. Что же до "мессианства", то теперь на Руси в него верят только русопяты и национал-большевики, путающие мессианизм с советским военным флотом в Индийском океане и считающие свой народ (русопяты — деревенский, большевики — рабочий класс) чище, умнее и храбрее всех прочих.

Выведя революцию из народного духа, Бердяев не сомневался, что она "порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет"**.

Он и думать не мог, что коммунизм взойдет пышным цветом в разных частях земного шара, что под сенью дружеских штыков он обоснуется в самом сердце Европы и обнаружит повсюду общие черты.

Тоталитаризм для Солженицына — не мистическое свойство славянства, ему подвержены все расы, и "светлое зарево коммунизма, залившее уже полнеба", не ослабляет своего триумфального шествия.

Поэтому выводить из православной аскетики хулиганский атеизм со срыванием и топтанием икон, классовую ненависть и колхозы — пустая и оскорбительная игра ума.

Сталин почти окончил духовную семинарию, но португальский генсек Кюняль не обучался в Загорске и не проходил стажировку в Тихвинской пустыни. И русская интеллиген-

---

*"Из-под глыб", стр. 135.

** "Истоки и смысл русского коммунизма", стр. 109.

ция, приняв гидролизную ванну марксизма-ленинизма, обрела универсальный покров, делающий ее неотличимой от корейских, гватемальских или кубинских товарищей.

Солженицын не верит в "особые пути". Он различает лишь разные стадии коммунистического заболевания. В маоистском Китае он, как и все русские, видел карикатурную аналогию советским тридцатым годам. В Южной Америке террористические акты свидетельствуют об инкубационном периоде. А в Португалии ситуация как две капли воды напоминала февральскую лихорадку.

И если Португалия не дала увлечь себя в бездну, причины лежат не в особенностях загадочной латинской души. Одна из них — благоразумный выход из войны, на что в 17-ом году не сумело отважиться романтическое Временное правительство, верное союзническим обязательствам. Другая заключается в том, что "наставление", о котором говорил прозорливец Чаадаев, не прошло, видать, даром, и европейская прогрессивная общественность протянула руку не Кюналю, а Соарешу.

Русские были первыми. У них не было ни примера, ни иммунитета. Но они будут и первыми, кто, по мнению авторов сборника "Из-под глыб", выберутся из-под глыб. И в этом смысле допускается мечтать об "особом пути" России, о ее сокровенной миссии сестры милосердия. В красной пустыне, что охватит неминуемо все человечество, воспрянувшей России суждено, может быть, стать первым оазисом истинной свободы, христианской крепостью и здравницей.

"Коммунизм на Западе есть другого рода явление... Можно мыслить коммунизм в экономической жизни, соединяемый с человечностью и свободой", — писал "левый" веховец Бердяев, предвосхитивший Плюща и еврокоммунизм.

Коммунизм всегда и всюду один, возражает Солженицын, даже если в каждом отдельном случае сквозь него проступают национальные черты и своеобразие. Коммунизм обнажает самое худшее в стране и человеке; родовые слабости и дурная наследственность достигают в коммунизме максимального выражения. И в этом отношении он действительно национален. Во всех же других — абсолютно идентичен. Он, как чума, как проказа, как опухоль. Он "вгрызся в тело России, ослабленное Первой мировой войной", и алкает ненасытно новой добычи.

Всем он опасен, но одних он сражает наповал, других душит не до конца. Политические лекарства, "новейшие средства", накопленные годами рекомендации могут лишь пригодиться в лечении. Но важнее всего — ясное и всеобщее осознание, что вам выпал не редчайший шанс, не прогрессивное чудо, коему нелепо и бессмысленно противиться, а тяжкий недуг.

И все же лечение лечением, но одни национальные организмы оказываются и сами по себе более стойкими, чем другие. Так же как чума, косившая население Индии, была снисходительнее к английским колониальным войскам, так и коммунизм почти "не прилипает" к некоторым странам, должен был бы констатировать Солженицын.

Сетуя на гражданскую неразвитость русского народа, на его глухоту к национальной и гражданской идее, не делает ли он таким образом шага навстречу западникам, не признает ли он в русской хрупкости частичную обоснованность их концепций или правомерность их исторического подхода в форме, более приемлемой для своих национальных чувств?

Этим, скорее всего, и объясняется холодный прием, уготованный "Августу" крайними националистами. Упреки в "германофильстве", в преклонении перед немецкой военной организацией суть вторичные эффекты их раздражения и, на наш взгляд, совершенно несостоятельны.

Солженицын не придумал разгрома самсоновской армии, а попытался разобраться в его причинах. И если ему исходить из того, что русская армия не уступала немецкой ни выучкой, ни оснащением, ни офицерами, то надо было бы признать, что она уступала ей боевым духом, чего бы не простили писателю ни славянофилы, ни западники, одинаковые патриоты своей земли. Хотя такое допущение не заключает в себе ничего святотатственного — немцы, как-никак, обороняли свою родину, — Солженицын себе этого не позволяет. Он рисует немец-

кий патриотизм таким же недалеким, чопорным и квасным, что и официальный русский.

Романист высмеивает высокопарные рассуждения царских кавалерийских генералов о "духе", о том, что немцы умеют-де воевать лишь по системе да по учебнику. А мы станем драться с ними по-русски, "НЕ ПО СИСТЕМЕ, не по порядку", одним духом. Вот немец растеряется и побежит.

Не исключено, что мистиков земли и крови задел сарказм Солженицына. Но, если уж актуализировать его прицел, писатель метил более всего в сталинское руководство, угробившее в последнюю войну не меньше двенадцати миллионов солдат. Посылая дивизию за дивизией в лобовые атаки, в прославленные "сталинские удары", топя немецкие огневые позиции дешевым пушечным мясом, оно прикрывало свою "стратегию", презрение к народу и цинизм колониальных губернаторов разговорами о "морально-боевом духе советских войск", в спину которых были направлены для пущей уверенности пулеметы заградотрядов.

Защита "грамотной" войны стоила Солженицыну странных обвинений. От нее, нам говорят, "попахивает технократией", "западничеством в мещанском смысле этого слова"*.

"Перекрестный огонь критики, обрушившийся на Солженицына из лагеря "универсалистов" и из лагеря "националистов", свидетельствует о его непринадлежности ни к тем, ни к другим, указывает на то, что он идет каким-то своим, третьим путем ..." — так комментирует идейные бои на восточном фронте их непосредственный и проницательный участник А. Веретенников**.

Чем же вымощен "третий путь" Солженицына?

Описывая военную и революционную катастрофу и обстоятельства изнасилования и растления несовершеннолетней народной России, писатель приближается к "универсалистам"-западникам.

---

*Рукописный журнал "Вече", (№ 4 и № 5, 1972, стр. 44 и 51).

**Там же, стр. 64.

Вскрывая нездешнюю природу советской власти, представляя революционеров "беспочвенными", оторванными от русской жизни и истории, а их идеологию — эманацией западного буржуазного, материалистического сознания, Солженицын проявляет чистейшей воды славянофильство.

Но занимая направо и налево, Солженицын влезает в долги. Западники не прощают ему пренебрежения к политической эмансипации личности и общества, огульного осуждения русского культурного класса, только и сумевшего, по Солженицыну, что расшатать авторитет и органические устои государства.

Для националистов, то есть крайних славянофилов, роману недостает ни Вагнера, ни "Александра Невского", Им кажется недопустимым и уныло-рациональным объяснять поражение русского войска "двойным превосходством немцев в артиллерии". Восхвалять "беспрекословную прусскую дисциплину и подвижную европейскую самодеятельность" и считать Россию слаборазвитой в идейном отношении страной.

И те, и другие находят и не находят себя в романе. И те, и другие испытывают от него болезненную неудовлетворенность.

(Окончание в следующем номере).

Она знала, что стихи не одним лишь талантом порождаются, а и всеми бедами, страстями, слабостями и радостями живой человеческой плоти, ее болевым опытом, ее волей и силой, потом и трудом, голодом и жаждой.
Ариадна Эфрон.
Страницы воспоминаний.

Е. ЭТКИНД

ПУТЬ К РОССИИ

О сборнике Марины Цветаевлй "Ремесло"

1

Сборник "Ремесло" — главнейшая книга Марины Цветаевой, которая запечатлела и труднейшую эпоху в ее жизни, и трагическую эпоху в жизни страны: от апреля 1921 до апреля 1922 года.

Москва, как и вся Россия, голодала. Гражданская война, опустошившая и обескровившая страну, окончилась победой большевиков. Белое движение погибло безвозвратно, установился военный коммунизм, уступивший место НЭПу. Но голод, голод, голод. Можно ли было думать о другом, когда умирали дети?

Для горожан 1921 год — один из самых страшных. Тяжелее всего было женщинам. "Картошка на полу... Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись /рук не чувствую/ — какую попало, раздавленную, мороженую, оттаявшую... Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают.

Пользуюсь темнотой, начинаю плакать... Мешок, слабо завязанный, рассыпается. Клюканье. Хлипанье. Терпеливо, и не торопясь подбираю..."* С этими же руками, онемевшими от холода, Цветаева потом сидела за своим столом, который был "Лбом, локтем, узлом колен Испытанный, — как пила в грудь въевшийся...", который учил, "что нету — завтра, что только сегодня — есть" и "что каждой строчки сегодня последний срок".

Так было совсем недавно, в 1919 году. В 1921 году чуть полегче, не намного. Денег нет, источников существования нет. Цветаева переписывает стихи, сшивает в тетрадочки и продает через Лавку писателей /это тогда называлось: "преодолевать Гутенберга"/, покупателей почти никаких. Девятилетняя Аля постоянно и сильно болеет — кормить нечем. Трехлетняя Ирина в феврале 1920 года умерла в приюте за Москвой от голода. Потрясенная мать так никогда и не опубликовала стихи, вырванные у нее этой смертью /они увидели свет через двадцать лет после гибели Цветаевой — В "Тарусских страницах"/:

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую из тьмы выхватывая,
Младшую не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Марина Цветаева. Мои службы. В кн.: Проза, Нью-Йорк, 1953, стр. 127.

Сестре Анастасии Марина Цветаева пишет в декабре того же двадцатого года: "Пиля и Вера вели себя хуже, чем животные — вообще все отступились... Дом разграблен и разгромлен. — Трущоба. Топим мебелью. — Пишу. — Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. — Служила когда-то 5½ месяцев/1918 г./— ушла, не смогла — Лучше повеситься"*.

Один из ее друзей, Сергей Волконский, рассказывает в письме-посвящении, адресованном Цветаевой: "А помните, как пришел к Вам грабитель и ужаснулся перед бедностью, в которой Вы живете? Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять у него денег"**.

С. Волконский три года спустя в Риме вспоминал об этих днях с ужасом: "Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности?... Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность "товарищеского" обхождения? Помните, что такое был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи!... На улице лошадиная падаль лежит, а из брюха ее врассыпную кидаются собаки..."

А муж, воевавший в Добровольческой армии, пропал без вести — жив ли? Он не знает ни о голодной смерти дочери, ни о мучительном существовании жены. Марина просит Анастасию поберечь его: "Если найдется след С. — пиши, что от воспаления легких". Она верит в чудо и ждет своего Сергея: "Я Москву ненавижу, но сейчас ехать не могу, ибо это единственное место, где меня может найти — если жив. — Думаю о нем и день и ночь, люблю только его".

Вопреки всему — ослепительная вспышка поэзии. В июле-сентябре 1920 года: удалая, ярко-песенная, многоцветная и многоголосая "Царь-Девица". В январе 1921 года — бешенодинамическая поэма "На красном коне", герой которой, по

* Марина Цветаева. Неизданные письма. YMCA-Press, Paris, 1972, стр. 42. Упомянутые здесь Пиля и Вера — невестки Цветаевой.

** Кн. Сергей Волконский. Быт и бытие. "Медный всадник", 1924, стр. XIII /репринт- YMCA-Press, 1978/

свидетельству дочери Ариадны Эфрон, автор "Двенадцати", Георгий-Победоносец революционных лет России Александр Блок.

В эту зиму она увлечена сочинениями и личностью Сергея Волконского — она переписывает от руки его труды /"Странствия", "Лавры".../ — может быть это заглушает в ней горе и тревогу.

Сергеем Волконским и открывается сборник "Ремесло": циклом стихов, посвященных ему смиренным учеником/"Час ученичества, он в жизни каждой торжественно-неотвратим"/, и его поэтическим портретом. Вероятно, так Цветаева кончает предыдущий период и одновременно начинает новый. Ее "час ученичества" — это "сброшенная клажа", отказ от опыта, накопленного годами, чтобы впитать в себя новую мудрость, мудрость Учителя. Хотя не слишком-то склонна Марина Цветаева до конца укротить гордыню и "сапожком — робким и кротким" ступать за ним, за Мудрецом. Последнее стихотворение цикла завершается строками:

Сапожком — робким и кротким —
За плащом — лгущим и лгущим...

Вот от понимания того, что истина учителя — ложь, как всякая конечная истина, и рождается мироощущение, которое более всего поражало всех, видевших в эту пору Цветаеву:

Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, — еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом
Ты — одиночества верховный час!

Одиночество — гордое и непреодолимое: это в ту пору постоянное впечатление от Цветаевой. Близко знавший ее Илья Эренбург вспоминал: "С отрочества до смерти она была одинокой, и эта ее отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего".* Тот же Эренбург нашел очень точную формулу: исступленное одиночество Цветаевой...

*И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. 1. М., 1961, стр. 375.

И все же: "Одиночество было для нее не программой, а проклятием". Сколько раз об этом проклятии писала она сама: "Я очень одинока, хотя вся Москва — знакомые. Не люди. — ... Все эти годы кто-то рядом, но так безлюдно".* Одиночество — от огромных требований к людям. Одиночество — от неукротимого свободолюбия.

Цикл "Ученик" стоит в начале книги для того, чтобы с первых же строк заявить о новом начале, о новом летоисчислении в жизни автора — сброшен груз прежнего, ученик сменил "пурпур Воина на мех верблюжий". В то же время смысл "Ученика" и в том, что автор заявляет о своей безоговорочной самостоятельности, независимости от кого бы то ни было, даже от Учителя. Начальное стихотворение кончается готовностью "...вдохновенно улыбнувшись — первым Взойти на твой костер", а заключительное, седьмое, отрицающей эту преданность строкой: "За плащом — лгущим и лгущим".

Сборник начинается циклом "Ученик", посвященным С.М. Волконскому по причинам, обусловленным биографией.

Но сборник открывается циклом "Ученик" по причинам сюжетным.

Биография с сюжетом смыкаются, но и расходятся.

2

За год, составляющий сюжетное время сборника "Ремесло", произошло немало событий — и общих, и частных. В начале 1921 года — Кронштадтское восстание, а потом — объявление НЭПа и наступившее сразу оживление литературной и всякой иной жизни. Окончание гражданской войны, крушение "белого дела". Гибель /незадолго/ Бориса Трухачева, первого мужа Анастасии Цветаевой /Марина: "...смерть Бориса — для меня рана на всю жизнь, огромное и страшное горе"/ и пропажа Сергея Эфрона. Весной — поездка за границу Эренбурга с обещанием найти его следы, и внезапно благая весть: Эфрон

*Марина Цветаева. Письмо сестре, 17 декабря 1920. Неизд. письма, Париж, 1972, стр. 43.

жив и здоров. Об этом в конце июня извещает Цветаеву Эренбург через Бориса Пастернака, доставившего письмо.

1 июля — письмо самого Сергея Эфрона из Праги: помнит, любит, ждет встречи. Сразу — заявление властям с просьбой разрешить выезд к мужу, дать паспорт ей и дочери. В это самое время, 2 августа, арест Гумилева, обвиненного в заговоре, 7 августа — смерть Александра Блока /"Вещие вьюги кружили вдоль жил, плечи сутулые гнулись от крыл..."/, а 24 числа того же проклятого августа казнь Гумилева. В конце ноября она обратится к Сергею Эфрону, помня об этом расстреле:

Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.

После казни Гумилева — донесшиеся из Петрограда в Москву настойчивые слухи о самоубийстве Ахматовой, первой жены Гумилева. Для Цветаевой это крушение: Анна Ахматова — кумир. Поражает мертвое равнодушие московской литературной среды — взволнован один только Маяковский, тот самый, для которого, казалось бы, Анна Ахматова воплощает враждебное начало /позже он напишет о Версале: "...Как будто бы влип в акварель Бенуа, к каким-то стишкам Ахматовой"/. Но именно Маяковский, пустив в ход всю энергию, узнал правду и успокоил Цветаеву: Ахматова жива. Весной 1922 года заграничные паспорта оформлены, в мае — отъезд. 15 мая — Берлин.

Почти все эти события и некоторые другие получили свое лирическое отражение в сборнике "Ремесло". Тут и отклик на смерть Т.Ф. Скрябиной, вдовы композитора и близкого друга Марины Цветаевой, /"Бессонница"/, и поэтический портрет Михаила Кузмина, встреченного в январе 1916 года и вспомненного в связи с тем, что полистала в Лавке писателей его сборник "Нездешние вечера" и нашла совпадение с собою... /"Два зарева! — нет, зеркала!../, и напутственные стихи Илье Эренбургу, взявшемуся отыскать Эфрона.

Между рубахою и грудью
Ты сердце Матери везешь.

/"Вестнику"/

И многочисленные стихи, адресованные Сергею Эфрону, проникнутые и тоской /"Разлука"/, и восхищением его самоотверженным героизмом /"Георгий"/, и, наконец, восторгом после получения от него письма:

Мертв — и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом

По голове, —
Нет, по эфес
Шпагою в грудь
Радость!

/"Благая весть", 2/

И скорбные, а порой иронические, даже саркастические стихи о проигранной белыми гражданской войне /"Возвращение вождя"/, и восхваление Ахматовой, которую Цветаева, еще не зная, жива ли она, но уже зная о расстреле Гумилева, называет "Единодержицею струн", с которой "беседовали звезды"; и апология Маяковского /"Здорово, в веках Владимир!"/, который, хоть и ломовой, да Архангел. И стихи о татарской неволе, далеко не веселые, выражающие решение уехать из России:

Ханский полон
Всласть изведав,
Бью крылом
Богу побегов...

/"Ханский полон", 1/

И стихи о Блоке, отождествляемом с богом, и о Москве, которая равновелика России, и о революционерах, честно погибших в бою за свободу:

Тоже праведники были,
Были — не за гривну!..

/"Москве"/

И о тех, кто пал в гражданскую войну — и свои, белые, соратники Сергея Эфрона, и другие, которые тоже пали за свою страну, — красные. И о бунтарской стихии русского народа — с его Соловьем-разбойником и Степаном Разиным, с его метелями, песнями, гульбой, плясками и мятежами.

Таков биографический стержень "Ремесла", сборника, в котором можно видеть лирический дневник.

3

Но есть в "Ремесле" и второй сюжетный слой, поднятый над биографическим. Читатель движется от стихов понятных, вполне прозрачных к загадочным, темным. И чем дальше, тем все более темным, пока не упирается в поэму "Переулочки", которую понять и вовсе невозможно. Впрочем, нет, понять ее можно, для этого надо заняться изысканиями — прочесть письма Цветаевой, написанные полтора десятилетия спустя, где даются истолкования поэмы, прочесть былину "Добрыня и Маринка", на которую она ссылается, изучить другие материалы. На это автор рассчитывать не может, значит, он предполагал, что поэма останется загадочно-темной. Читатель проделывает путь от света ко все более сгущающемуся и, наконец, в самом деле почти непроглядному мраку. И этот путь оказывается метафорой русской жизни.

Второе движение, осуществляемое читателем,— от отдельного, отчетливо звучащего голоса, через диалоги с отделимыми голосами, к народным хорам, в которых голоса сливаются в нерасчленимое целое, и еще — к шумно-хаотической разноголосице мятежа или пьяного празднества:

Над ушком-то чудом:
Пора, брат, за бубен!
А в ладонь-то — зудом:
С кого брать зарубим

Товарищество! Товар
Румяный наш кашевар!

Тисканая!
Глаженая!
Румяная!
Ряженая!

Ротастая —
Твоя купель.
Одна сестра —
На всю артель!..

/"**Сугробы**"/

Этот путь читателя — тоже метафора русских революционных лет.

И еще в сборнике "Ремесло" неуклонно нарастает народно-речевое начало, фольклорная песенность, музыкально-плясовая, внесловесная выразительность. Начало чисто литературное, даже в пределах принятых петербургско-интеллигентских условностей, — например, едва ли не акмеистический словарь в стихотворении "Князю С.М. Волконскому".

Стальная выправка хребта
И вороненой стали волос.
И чудодейственный — слегка —
Чуть прикасающийся голос...

Чем дальше, тем народная речь становится необузданнее, тем она больше вырывается из принятых литературных норм. Еще в цикле "Георгий" речь близка к привычно-символистской /"Славьте, жемчужные грозди полуночи, дивного мужа, пречистого юношу".../. В "Ханском полоне" она приобретает черты архаически-стилизованной разговорности /"Щебнем-травой, гребнем-откосом. Над татарвой — Тьфу! — над раскосой".../, чтобы в стихотворении "Ахматовой" стать народно-песенным монологом /"Где сподручники твои, где сподвижнички? Белорученькая моя, чернокнижница!"/, а в "Переулочках" приобрести черты плясовых народных мелодий, преодолевающих ограниченность словесных смыслов /"Высь-Ястребовна, Зыбь-Радуговна, Глыбь-Яхонтовна: Лазорь!"/ /"Звончей, звонницы-бессонницы. Во весь-от-звон! Здесь головушки не клонятся: И так взойдем..."/

И, чем дальше, тем большую свободу обретает речь — в словообразованиях, в ритмических формах, в игре идиоматикой, напевами, переплясами. В этом отношении "Переулочки" — высшая точка свободы, обретенной благодаря погружению в стихию безудержной народности.

Есть и другие аспекты этого движения от начала "Ремесла" к его концу. Так, сборник открывается пространством отвлеченным, ирреальным, философским; где это происходит?

Тихо взошли на холм
Вечные двое...

или

Ручьев ниспадающих речь
Сплелась предивно...

или

По холмам — круглым и смуглым...
По пескам — жадным и ржавым...
По волнам — лютым и вздутым...

Аллегорическое пространство — пейзаж в цикле "Георгий". Но постепенно оно становится более отчетливым и конкретным, хотя и сказочно-условным:

Травушки стоптаны,
Рученьки розняты.
В поле стыдобушка
Никнет березынькой

/"**Ханский полон**", **4**/

А в цикле "Сугробы", где сохраняется народная песенность, появляется ощутимая точность пространственно-пейзажных деталей:

Горбуны-горбы-верблюды —
Прощай, домочадцы!
А сугробы подаются
Скоро расставаться.

Этот сюжет "Ремесла" — от "Ученика" до "Переулочков" — можно было бы назвать так: путь к России.

К народному языку. К мятежной стихии крестьянства. К деревенскому хмельному переплясу, к частушке и словесным играм мужиков — загадкам, заплачкам, заговорам, свадебным и ярмарочным песням, скоморошеству и балагану. К той древней Руси, которая еще сохранилась в нынешней России и которая уходит неминуемо — пора расставаться! И все это значит: и Русь уходит от меня, и я — ухожу от нее, уезжаю... "Бью крылом Богу побегов"...

Не гляди, что слезы льются:
Вода — может статься!
Раз сугробы подаются —
Пора расставаться!

"Ремесло" — это прощание Марины Цветаевой с Россией. Нарастание неминуемости расставаться с этой страной — единственно дорогой и в то же время ненавистной — окрашивает сборник в трагические тона. Цветаева, еще не уехав, понимает тоску беженства. Позднее она подведет итоги своей эмиграции: "Из мира, где мои стихи кому-то были нужны как хлеб, я попала в мир, где стихи никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны — как десерт: если десерт кому-нибудь нужен."*

И все же: какое счастье, что она уехала! Можно ли сомневаться, что ее ожидал ГУЛаг или просто пуля в затылок? За мужа-белогвардейца... за воспевание белых Лебедей... за дружбу с Мандельштамом... за "абстрактный гуманизм"... за "идеализацию иррациональной стихии"... за "кулацкие мотивы"... Нашлось бы за что. Ведь погибли же куда менее во

* Марина Цветаева, проза. Нью-Йорк, 1953, стр. 276-277, /"Нездешний вечер"/

всем этом виновные Артем Веселый, Борис Пильняк, Борис Корнилов, Павел Васильев и все другие.

"Ремесло" — это прощание с Россией. Путь из России. Но биографический путь из России оказался в книге путем к России. Оба сюжета, сомкнувшись, разошлись.

4

Марина Цветаева еще не заняла подобающего ей места в современной русской литературе. В Советском Союзе ее, казалось бы, "посмертно реабилитировали" — выпустили большой однотомник в "Библиотеке поэта" /1965/, где в предисловии /В.Н. Орлова/ сказано: "...без лучших стихов и поэм Марины Цветаевой сейчас уже невозможно составить достаточно полное и ясное представление о русской поэзии нашего века"*.

А все же однотомник остался сам по себе. Цветаеву изучают, в архивах копаются, публикуют неизвестные тексты, ловят биографические фактики, но русская поэзия 20х — 30х годов все же обходится пока без нее. Обойма осталась прежней: Демьян Бедный, Маяковский, Багрицкий, Безыменский, Жаров, отчасти В. Казин и пролеткультовцы, отчасти /как посторонние/ Пастернак, Сельвинский и, конечно, Тихонов. А Марина Цветаева — она ведь жила где-то за границей! При чем тут она?

Ну и что с того, что за границей? И Достоевский, и Тургенев, и Герцен, и даже Горький писали за границей. Литературный процесс остается единым, где бы кто ни писал. Марина Цветаева недаром с такой страстью исследовала /да, именно исследовала, и лучше многих специалистов/ поэзию таких современников, как Пастернак и Маяковский; она себя от них не отделяла. И была права: какими бы ни казались политические взгляды Цветаевой, она справедливо считала себя поэтом революционным — хотя бы в том смысле, что взры-

Вл. Орлов. Марина Цветаева. Судьба Цветаева. Судьба. Характер. Поэзия. В кн.: Марина Цветаева. 'Избранные произведения. М.-Л., 1965, стр. 6

вала все традиционные нормы классической литературности. Она справедливо видела общность между собою и Маяковским в громкости голоса, в ораторской сути стихов, обращенных к народным толпам. Маяковский, с точки зрения Цветаевой, — единственное в мире явление, ибо, как правило, революционер в политике — консерватор в поэзии. "Оттого, что Луначарский революционер, он не стал революционным поэтом; оттого, что я не — я не стала поэтом-реставратором"*, — утверждает десять лет спустя Цветаева и продолжает: "Поэт Революции... и революционный поэт — разница. Слилось только в Маяковском ... Посему он чудо наших дней, их гармонический максимум..."

А по поводу общности их обоих у нее сказано со всей определенностью: "Маяковского нужно читать вслух и как можно громче ... Всем залом, всем веком"**. А про себя: "Мои русские вещи при всей уединенности, и волей не моей, а своей, рассчитаны — на множества". Трагедию свою М. Цветаева видела в эмигрантской узости: "Здесь множества — физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России — зальца... Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить."***

По примитивной логике автор "Лебединого стана" должен был проклясть автора "Двенадцати". Между тем, Марина Цветаева Блока боготворила. Ариадна Эфрон свидетельствует: "Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по струнному ремеслу, а как божество от поэзии, и которому, как божеству, поклонялась... Феномен "Двенадцати" не только потряс ее, но в чем-то основном творчески устыдил, и за себя, и за некоторых ее современников-поэтов."****

---

* Марина Цветаева. Поэт и время /1932/ "Воля России", 1932, № 1-3, перепеч. в "Несобр. произв".

** Марина Цветаева. Эпос и лирика современной России. /1933/. "Новый град", №6 и 7. Париж, 1933. Перепеч. там же, стр. 641.

*** Марина Цветаева. Поэт и время. "Неизд. произв.", стр. 623-624.

**** Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний. Изд-во "Лев", Париж, 1979, стр. 63-64.

Маяковский, Блок, Пастернак, Ахматова — как видим, Марина Цветаева, оценивая русскую поэзию современности, руководилась отнюдь не политикой. Сама она, хотя иногда декларировала /не слишком горячо/ свой вымученный монархизм, сама она как поэт стояла в одном ряду с теми, кого иногда называют "стихийниками" в русской литературе XX века, — поэтами и прозаиками, вдохновленными взорвавшейся в 1917 году народной стихией мятежа, напоминавшей о Смутном времени, о Разине и Пугачеве, о древней народной вольнице. Веру в глубинные силы крестьянской Руси она сохранила до конца тридцатых, и это было подлинной революционностью Цветаевой, роднившей ее со всем авангардным искусством двадцатых годов.

Все более импозантно утверждала себя российская бюрократическая империя. Когда Марина Цветаева в 1939 году приехала в Москву, она ее и нашла — эту застывшую, бесчеловечно-монументальную сталинскую империю. Революционный поэт Марина Цветаева была уничтожена тоталитарным чудовищем, которое до того задушило и любимое ею крестьянство, и вскормившую ее интеллигенцию, и обожаемую ею поэзию.

Не политические факторы определяют пути литературы. Французский романтизм создали роялист Виньи и республиканец Гюго, а русский — христианский монархист Жуковский и революционер Рылеев. Сборник Марины Цветаевой "Ремесло" — ярчайшая стихотворная книга двадцатых годов, и ее следует изучать в ряду со стихами и поэмами Хлебникова, Маяковского, Пастернака, Тихонова, Багрицкого, Ахматовой, Сельвинского, — где бы ни жила Цветаева и какой бы из политических лагерей ни воспевала.

Тем более, что среди поэтов Революции не было, кроме Маяковского /и отчасти Пастернака/ никого, кто бы с такой веселой энергией революционизировал поэтическую речь и русский стих. В "Ремесле" цветаевское новаторство обнаруживает себя на каждом шагу. Это и обновление лексики, и поразительные ритмические формы, казавшиеся чисто экспериментальными, а Цветаевой используемые всерьез, вовсе не

ради формального фокуса. Она может написать целое стихотворение одними односложными словами, без неударных слогов:

Конь — хром,
Меч — ржав.
Кто — сей?
Вождь толп...

Может создать шестистопный ямб без привычной цезуры посредине и с дактилическими окончаниями всех строк:

С какой торжественною постепенностью
Спадают выспренные обветшалости!
О наши прадедовы драгоценности!
Под самозванческим ударом Жалости.

Может дробить слова на части, сообщая каждому из отделившихся кусков необходимое музыкальное ударение:

Товарищи!
Жива еще
Мать — Страсть — Русь!
Товарищи!
Цела еще
В серд — цах Русь!

Может до неправдоподобия, хотя и не нарушая правил словообразования, удлинить слова, сделав их образным выражением медленности:

На заре — наимедленнейшая кровь,
На заре — наиявственнейшая тишь...
Око зрит — невидимейшую даль,
Сердце зрит — невидимейшую связь,
Ухо пьет — неслыханнейшую молвь...

Примеров можно приводить множество. Ясно и так, что Марине Цветаевой как мастеру языка и стиха чужда даже тень классической охранительности, как бы порой ни казалась она консервативной в своих политических воззрениях.

Впрочем, как большому поэту, ей чужда и всякая узость

нетерпимости. Восхищала ее позиция Максимилиана Волошина, в чьем крымском доме находили убежище

И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер...

В очерке о Волошине Цветаева писала: "...он спасал красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей... Этого человека чудесно хватило на все, все самое обратное, все взаимоисключающееся... На одно только его не хватило, вернее, одно только его не захватило: партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество"*.

Эта декларация — важнейшая для Цветаевой. В "Ремесле" утверждена именно такая позиция, единственно человеческая:

Враг — пока здрав,
Прав — как упал.
Мертвым — устав
Червь да шакал.

Вместо глазниц —
Черные рвы.
Ненависть — ниц:
Сын — раз в крови!

/**"Сомкнутым строем..."**/

С этой позицией лицемерно спорит советский критик, цитируя прекрасные строфы:

Все рядком лежат, —
Не развесть межой.
Поглядеть — солдат!
Где свой, где чужой?

Белым был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал:
Смерть побелила.

---

* Марина Цветаева. Живое о живом /1932/. В кн.: Проза. Нью-Йорк, 1953, стр. 198-199.

Вл. Орлов, неловко подделываясь под официально-советскую фразеологию, называет это "абстрактной человечностью" и "неверными нотами". Ему будто бы по душе иной гуманизм — "беспредельная ненависть к заправилам капитализма..." и проч. Может быть, написать это прославление ненависти в предисловии к однотомнику и было необходимо, чтобы начальство позволило вернуть Марину Цветаеву русскому читателю в СССР, но, во имя правды и человечности подлинной, напомним в заключение строки Цветаевой:

Ненависть, — чти
Смертную блажь!
Рядышком ляжь!

Ненависть, ниц
Сын — раз в крови!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

В Новом Русском Слове сотрудничают лучшие литературные силы эмиграции. Газета имеет собственных корреспондентов в Иерусалиме и Тель-Авиве.

ОТ РЕДАКЦИИ

Будучи в Мюнхене, я попросил Александра Зиновьева ответить на некоторые вопросы журнала "Время и мы". Публикуя в этом номере его интервью, мы, однако, не можем согласиться с определенными положениями автора. Тем не менее, согласно установившейся традиции — предоставлять трибуну для высказывания разных точек зрения, журнал воспроизводит весь текст интервью без каких-либо изменений или изъятий. Редакция считает чрезвычайно интересным по возможности полно ознакомить читателей с политическими взглядами Александра Зиновьева — одного из выдающихся писателей и мыслителей современности, — притом ознакомить в тех понятиях и терминах, которыми считает нужным оперировать сам автор. Мы допускаем, что ряд положений, выдвинутых Зиновьевым, вызовет несогласие некоторых читателей, и со своей стороны готовы предоставить трибуну для высказывания любой из противостоящих точек зрения.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр ЗИНОВЬЕВ

О КОММУНИЗМЕ, О ЗАПАДЕ И О СЕБЕ

Интервью журналу "ВРЕМЯ И МЫ"
14 октября 1979 г.

— В "Intern. Herald Tribune" 13 сентября этого года появилось изложение Вашей беседы с американским журналистом в Вашингтоне, которое вызвало кривотолки. В этой статье, в частности, сообщается, будто бы вы стремитесь к бытовому комфорту, нынешних советских руководителей предпочитаете диссидентам и т.п. Как вы относитесь к таким сообщениям?

— Оставляю их без внимания. Я уже привык к тому, что мои мысли в той или иной мере обычно искажаются, и не придаю этому большого значения. Это — нормальное явление в человеческом языковом общении. В тех примерах, которые вы привели, по всей вероятности, сработала типичная ошибка — отождествление содержания утверждения с личными симпатиями или антипатиями говорящего. Я говорил, например, что советские люди хотят иметь самые обычные житейские блага — хорошую еду, одежду, квартиры и прочее. Иногда это истолковывают так, будто я сам стремлюсь к житейским благам. Хотя на самом деле я больше склонен к аскетизму. Я говорил, например, что советские люди предпочитают ны-

---

Заголовок редакции

нешних своих руководителей диссидентам. Иногда это истолковывают так, будто я сам склоняюсь к такому предпочтению. Хотя на самом деле я нисколько не симпатизирую советским руководителям и симпатизирую диссидентам, что очевидно из моих книг. Другая типичная ошибка — отождествление убеждений моих литературных персонажей с моими собственными. С этим я сталкиваюсь буквально на каждом шагу.

— Ну, а если на минуту допустить такую возможность, что диссиденты придут к власти в Советском Союзе. Что, по-вашему, произошло бы и как вы отнеслись бы к такому чуду? В частности, вернулись бы в Советский Союз, в новую Россию, переделанную в соответствии с идеалами диссидентов?

— Есть определенные правила поведения людей, стоящих у власти и определенные правила функционирования аппарата власти. Нарушить эти правила не в силах никто, в том числе и диссиденты. Заняв посты, они, может быть, порыпались бы некоторое время, а потом стали бы делать то же самое, что и нынешние руководители. Только еще хуже, ибо они не имеют опыта руководства большими массами людей. Положение в стране зависит не от личных качеств вождей, а от сложной системы социальных отношений, которые изменить сейчас не способна никакая группа людей, никакая партия. Лично я решил бы, если бы такое чудо произошло, что советские власти либо совсем сошли с ума, либо задумали какую-то грандиозную пакость. В частности, начать новую мировую войну, а вину свалить потом на диссидентов. В Советский Союз я при этом не вернулся бы ни в коем случае, ибо это было бы еще опаснее для меня, чем при нынешнем руководстве. И вообще, в некую воображаемую новую Россию, преобразованную в соответствии с чаяниями противников нынешней ситуации в России, я не вернулся бы ни в коем случае, ибо эта "новая Россия" в реальном исполнении явила бы собой еще большую мразь, чем нынешняя.

— Раз уж мы затронули этот вопрос, не могли бы вы сказать несколько слов, как Вы себе представляете перспективы России?

— Положение гораздо серьезнее, чем это кажется большинству людей, враждебно настроенных к советскому строю. Советский строй не есть только некая политическая форма политического правления, которую при желании и благоприятных условиях можно заменить на другую. Он выражает самую глубокую социальную структуру общества, он адекватен последней. И заменить советский строй иной формой правления без разгрома страны и разрушения всего уклада жизни населения практически невозможно. Октябрьская революция была революцией глубоко социальной. А для нового социального переворота сейчас никаких условий нет. Может быть, они назреют через несколько столетий. Создание в России общества, подобного западным странам, в результате некоей внутренней эволюции, абсолютно исключено. Что может произойти в результате военного поражения страны, об этом лучше не думать. Но если даже Запад победит, у него не будет сил заниматься социальными преобразованиями в России. И уцелевшие люди воспроизведут нынешний строй жизни, но ни в коем случае не то, о чем мечтают некоторые российские эмигранты, ибо есть социальные законы, по коим это совершается, и законы эти неподвластны даже антикоммунистам /как и коммунистам, между прочим/. Так что я представляю себе перспективы России именно в той форме, в какой я это изобразил в своих книгах.

— А если в этой войне победит Советский Союз?

— Я уверен в том, что если это произойдет, Советский Союз будет не в состоянии использовать плоды победы. И борьба против коммунистических тенденций в человеческой истории на этом не прекратится, как показал опыт того же Советского Союза. Рано или поздно внутри коммунистических стран, независимо от некоммунистического окружения начнется ожесточенная борьба за все то, что образует человеческую цивилизацию, — за гражданские права, за демократические свободы, за лучшие бытовые условия, за гласность. Если такая борьба не начнется и не закрепится в каких-то результатах и традициях, то человечество будет деградировать.

— Мы еще вернемся к этому вопросу. А сейчас я хотел бы

спросить вот о чем. Вы упомянули об Октябрьской революции. В какой степени эта революция и ее продукт — Советская власть — суть чисто русские явления? Какова роль в этом представителей других народов?

— Я не историк и не могу точно описать меру участия в революции представителей различных наций и народностей России. Но я догадываюсь, куда вы клоните. Есть концепция, согласно которой революцию устроили евреи, поляки, латыши и прочие нерусские люди и навязали русскому народу новый социальный строй обманом и силой. Мало сказать, что эта концепция — вздорная. Она есть в высшей степени вздорная, т.е. идиотская. То, что произошло в России, было делом многомиллионных масс населения. Это была народная революция в самом точном смысле слова. И воплощала эта народная революция в жизнь самые светлые идеалы человечества. При этом имело место насилие над самим народом, неслыханные жертвы, зверство и т.п. И что получилось из этого на самом деле, хорошо известно. Но это ничуть не опровергает народного характера революции. Русское население в большинстве своем приняло революцию как свою собственную, сыграло в ней решающую роль. Революция — это не только и не столько то, что происходило в Смольном или в Кремле. Это — грандиозный процесс, происходивший во всей массе населения бывшей Российской империи. Попробуйте сейчас навязать русскому народу другой строй жизни, и вы увидите, чья это была революция: он будет до последнего защищать нынешний строй, как бы сейчас плохо ни жилось ему.

Я надеюсь, вы не будете подозревать меня в том, что я обожаю нынешний социальный строй в России. У меня нет по отношению к нему никаких эмоций: я описываю его таким, каким вижу и понимаю его. И постоянно подчеркиваю, что положение с коммунизмом как в Советском Союзе, так и в мире вообще гораздо серьезнее, чем это представляют себе многие критики коммунизма и обыватели на Западе.

— Насколько я понимаю, мы приближаемся к центральному пункту вашей концепции современного общества. Не могли бы вы хотя бы коротко остановиться на ней?

— Коммунистическое общество существует как эмпирический факт в Советском Союзе и других странах. В известном смысле здесь реализовались все идеалы и принципы марксистского учения о коммунизме. Государство и партия утратили политический характер. Мораль и право из средств защиты людей друг от друга, от коллектива и от власти превратились в "технические" правила регулирования поведения людей в коллективе. Так что это можно рассматривать как реализацию предсказания классиков марксизма насчет отмирания надстроек. Все граждане имеют возможность отдавать свои способности на благо общества и развивать их, получают по труду и даже по потребностям. С одним, правда, коррективом: коллектив, общественные организации и власти определяют, каковы на самом деле способности индивида, каков его трудовой вклад в общество, какие его потребности приемлемы в качестве разумных и допустимых. Я утверждаю, что все недостатки коммунистического образа жизни — это не случайные и не преходящие явления, а необходимые спутники позитивных /с точки зрения апологетов и приверженцев коммунизма/ его качеств. Лучшие мечты и идеалы человечества, воплощаясь в жизнь, с необходимостью порождают самые гнусные последствия. В том числе и массовые репрессии в Советском Союзе были проявлением и следствием доведенного до предела народовластия. Но коммунизм существует не только в Советском Союзе и других социалистических странах. Он вырастает и в странах Запада из самых различных источников. Я имею в виду, например, определенного типа партии, гангстерские банды, бюрократический аппарат, профессиональные касты, стремление большого числа людей иметь блага, не работая, политические спектакли и т.п. Коммунизм есть нормальное и естественное явление в каждом обществе с большим числом людей, с развитым хозяйством, со сложной системой управления. Цивилизация, в которой мы живем, есть на самом деле сопротивление коммунистической тенденции в человеческой истории. И только благодаря такому непрерывному сопротивлению коммунизму цивилизация может сохраниться и продолжиться. Это сопротивление имеет

место не только в западных странах /кстати сказать, довольно слабое/, но и в самих коммунистических странах. Проблема, таким образом, состоит не в том, чтобы выбрать одно из двух: коммунизм или западный образ жизни /цивилизация/. Проблема состоит в том, чтобы найти эффективные средства сопротивления коммунизму везде и всегда. Без такого сопротивления нет никакой цивилизации. Оно столь же естественно, как и коммунистическая тенденция. Не некое стабильное состояние, а именно постоянная борьба этих двух сил — сил цивилизации /антикоммунизма/ и антицивилизации /коммунизма/ — есть неизбежная судьба человечества. Покоя нет и не будет. Вернее, покой есть смерть, и наступит он лишь вместе с гибелью цивилизации. Лишь эта гибель даст окончательное решение всех проблем. А пока человечество живо, оно обречено иметь дело с проблемами. В различные эпохи доминирует та или иная из упомянутых тенденций. Сейчас доминирует и является более активной коммунистическая.

— А как вы расцениваете поведение Запада в современных условиях? Считаете ли вы, что Запад ведет себя правильно по отношению к коммунистическим странам или неправильно /как полагают многие советские эмигранты/?

— Смотря с какой точки зрения. Запад поступает соответственно своей натуре. И по-другому он вести себя не может. Если политики Запада попробуют вести более жесткую линию в отношении коммунистических стран, им свои же граждане не позволят. И отнюдь не из симпатий к коммунизму, а из своих чисто эгоистических интересов. Есть мнение, будто поведение Запада самоубийственно. Но я на этот счет полон оптимизма. Основание для этого такое: Запад до такой степени жалко выглядит перед лицом коммунизма, что даже уже на самоубийство не способен. Так что есть хоть какая-то надежда, что он уцелеет. Кроме того, я надеюсь, что Запад додумается до одной банальной истины; в защите от нападения /а Запад теперь — защищающаяся сторона/ все средства сопротивления оправданы. Так что, если не рассчитывать на победу и иметь целью как можно больше напакостить победителю, то можно придумать такое сравнительно дешевое и доступное

для Запада оружие, применение которого угробит и победителя. Месть победителю — это вещь очень серьезная. Мне кажется, что это единственное, что может остановить агрессию.

— Тех, кто читает ваши книги и слушает ваши выступления, поражает прежде всего сама манера вашего мышления, парадоксальность суждений, противоречие их общепринятым мнениям. Чем это объясняется? Это ваша психологическая черта или принципиальное качество образа мыслей? С моей точки зрения — это очень существенно, поэтому, может быть, выскажетесь более подробно.

— Многие поступки людей зависят от того, как они понимают окружающую их действительность, — от их мировоззрения. А последнее существенным образом зависит от методов понимания. Я хочу в этой сложной проблеме обратить внимание на следующее. Я различаю идеологический и научный методы мышления. В сознании конкретных людей оба метода присутствуют в той или иной мере. Я буду употреблять выражение "идеологически думающий человек", если в его сознании доминирует идеологический метод мышления, и выражение "научно думающий человек", если в его сознании доминирует научный метод мышления. Научно думающий человек не обязательно является ученым по профессии, а идеологически думающий человек не обязательно идеолог по профессии. По моим наблюдениям, подавляющее большинство ученых являются идеологически думающими людьми, а в сфере идеологии попадаются научно думающие. Конечно, научно думающие люди чаще встречаются в сфере науки, а научно думающий человек в сфере идеологии есть большая редкость. Так что в этом смысле наука тяготеет к научному способу думания, а идеология — к идеологическому. Идеологический метод мышления доминирует в сознании подавляющего большинства людей. А в случае низкого образовательного уровня элементы научного способа мышления в сознании людей почти полностью отсутствуют. Здесь невозможно дать подробное описание этих методов мышления. Я назову лишь некоторые их свойства и поясню их на примерах. Идеологически думающий человек фиксирует непосредственно наблюдаемые факты

и обобщает их без анализа. Его суждения догматичны и субъективны, т.е. несут на себе печать субъективных пристрастий. Суждения, полученные с помощью идеологического метода, включают в себя так или иначе личное отношение человека к предмету, о котором высказываются суждения. Научно думающий человек стремится анализировать действительность, познать глубокие закономерности, которые незаметны для непосредственного наблюдения, исключить влияние своих пристрастий на результаты своих размышлений. Результаты идеологического метода мышления претендуют на непосредственное подтверждение наблюдаемыми фактами. Результаты научного метода мышления непосредственно с наблюдаемыми фактами не совпадают. Они не являются простым обобщением фактов. Они дают лишь средства, с помощью которых можно объяснить факты и предсказывать их. Научный метод мышления антидогматичен, непредубежден, гибок. Имеются и другие различия этих методов, но я ограничусь сказанным и приведу несколько примеров для ясности. Некоторый научно думающий человек А утверждает, что советский народ принимает свой нынешний социальный строй и предпочитает своих руководителей критикам советского образа жизни. Возможны различные идеологические интерпретации этого научного утверждения. Вот одна из них. Согласно А, — утверждает идеологически думающий человек В, — советский народ доволен своим образом жизни, любит своих руководителей и не любит критиков советского режима. Но это ошибочно. Фактически советский народ недоволен своим образом жизни, ненавидит своих руководителей и симпатизирует оппозиционерам. И имеются, якобы, многочисленные факты, подтверждающие это. Кроме того, — как думает В, — А симпатизирует советским руководителям и не симпатизирует оппозиционерам. Подчеркиваю, В думает так, поскольку он не отделяет личных пристрастий от объективных суждений. Однако с научной точки зрения возможно, что люди недовольны своим образом жизни и своими руководителями и одновременно принимают этот образ жизни и этих руководителей, как это и имеет место в Советском Союзе. Принимают не из

преданности идеям коммунизма и не из любви к партии, правительству и лично товарищу Брежневу, над которым они на самом деле смеются, а совсем по другим причинам. Приведенный мною в качестве примера человек В принадлежит к числу критиков советского строя. Должен заметить, что идеологический и научный методы мышления в той или иной мере свойственны или не свойственны как апологетам советского общества, так и его критикам. Известно, например, что советские люди официально осуждают диссидентов. Идеологически думающие апологеты советского общества объясняют это доверием к руководству, любовью к своему строю и нелюбовью народа к диссидентам как к клеветникам, тунеядцам, шпионам. Идеологически думающие критики советского общества объясняют это страхом репрессий. Но с научной точки зрения и то, и другое лишено смысла. Большинство советских людей осуждает диссидентов искренне, но в соответствии со своей социальной природой и положением, которые не зависят от эмоций и веры или неверия. Другой пример. Апологеты советского строя утверждают, что марксизм есть истина, и приводят многочисленные примеры правоты марксизма. Критики же коммунизма утверждают, что марксизм есть ложь, и тоже приводят многочисленные примеры, опровергающие /по их мнению/ положения марксизма. А между тем, марксизм не есть истина и не есть ложь, ибо марксизм есть не наука, а идеология. К суждениям идеологии применяются иные критерии оценки, чем к суждениям науки. Идеология может быть адекватна или неадекватна обществу, т.е. может соответствовать или не соответствовать менталитету граждан, может хорошо или плохо служить организации общественного сознания и т.д. Идеологически думающий человек склонен выдавать свои личные пристрастия за истину. Например, он замечает, что число людей, посещающих церкви в Москве, увеличивается. Среди них он видит много молодых людей. Это ему нравится. И он делает вывод, что в России начинается религиозное возрождение. Он желаемое выдает за действительное. Научно думающий человек может в этом случае без особых трудностей установить, что эти явления ничего общего

с религиозным возрождением не имеют, что они суть лишь ложная форма и повод для чего-то другого, что они ничуть не колеблют государственную идеологию и не выражают существенных перемен в отношении населения к своему социальному строю. Идеологически думающий человек склонен к односторонним, поверхностным и жестким схемам. Возьмем, например, нынешнюю советскую эмиграцию. Каковы ее причины и последствия? Является она благом или злом для советской системы? Идеологически думающий критик советского общества считает, что она есть поражение советской системы, что ее причины являются сугубо политическими. На самом же деле советская эмиграция есть явление сложное и неоднородное, она есть продукт различных социальных потоков, в ней перемешаны многие противоположные интересы, судьбы, расчеты. И сущность ее со временем изменяется. Например, советские власти сначала не хотели разрешать эмиграцию. Но постепенно положение стало таким, что теперь эта эмиграция выглядит как продуманная и преднамеренная операция советских властей, выгодная в первую очередь им и определенным кругам в Советском Союзе. В общем, нужна особая система понятий и методов познания, чтобы найти объяснение явлениям такого сложного целого, каким является современное общество. В своих книгах я и пытаюсь дать представление о научном методе мышления и изложить понимание общества, полученное этим методом, ввести в литературу и в обычное мышление на социальные темы элементы научного стиля мышления. А это непривычно для большинства людей и требует подготовки и некоторого опыта. Думаю, что после моих книг читателям будет легче понимать работы других авторов, идущих в том же направлении.

— Сейчас уже совершенно бесспорен факт существования двух русскоязычных литератур — подцензурной, печатаемой в Советском Союзе, и неподцензурной, издаваемой в "самиздате" и на Западе. Каково ваше мнение о их взаимоотношении?

— Подцензурная литература должна быть благодарна неподцензурной, за то, что из-за второй и первая стала значительно свободнее. Власти, чтобы как-то парализовать влияние неподцензурной литературы, разрешают подцензурной многое такое, чего не разрешили бы, если бы не было неподцензурной. Кроме того, неподцензурная литература создает соблазны для официальных писателей и дает образцы в смысле новых литературных форм. В силу сложившихся обстоятельств функции новаторства взяла на себя неподцензурная литература. Не представляет труда заметить ее влияние на прочую русскоязычную литературу. Трудно сказать, как долго может продолжаться такое положение. Но мне кажется, что неподцензурная литература свою историческую роль уже выполнила.

— Вы второй год живете на Западе. Каково ваше самоощущение здесь? И занимает ли в нем хоть какое-то место тоска по России?

— Год — слишком малый срок, чтобы сделать определенные выводы. К тому же этот год был у меня настолько загруженным всякого рода работой, что не до "самоощущений" было. И в ближайшем будущем у меня столько всяких дел, что никакого времени для тоски по Родине и рефлексии по поводу оторванности от родной почвы не будет. Но одно совершенно ясно: что бы ни случилось, никаких сожалений и раскаяний по поводу содеянного мною не будет. Со стратегической точки зрения, я свою жизнь построил правильно. Ее результатами я в основном удовлетворен — это главное в моем самоощущении, где бы я ни находился. Что касается бытового аспекта, то это для меня нечто второстепенное.

— А духовный аспект? Некоторые советские эмигранты жалуются на бездуховность Запада. А вы? Ощущаете ли вы эту бездуховность?

— Я довольно часто слышал такого рода жалобы. Мол, здесь нет той духовной близости между людьми, какая обычна в Советском Союзе. И поговорить-то, мол, тут на должном духовном уровне не с кем и не о чем. И проблемы такие высокие, какие волнуют людей в Советском Союзе, здешним людям недоступны. И так далее в том же духе. Слушать такие жалобы довольно комично. Чтобы судить о степени духовно-

сти Запада и сравнивать ее с таковой в Советском Союзе, надо иметь к ней доступ, знать ее, изучать ее длительное время. Надо читать книги, газеты, журналы, ходить в театры и музеи, посещать выставки. Надо с людьми разговаривать. А жалуются обычно люди, которые не знают западных языков и фактически никак не соприкасаются с духовной культурой Запада. Жалуются часто люди, которые сами в высшей степени примитивны с точки зрения этой самой духовности. Эти жалобы стали модой и штампом. И заимствованы они из самокритичных признаний Запада, а не выстраданы своими глубокими познаниями и опытом. А жалобы Запада на самого себя не всегда надо понимать буквально. Порой то, что для Запада — низкий уровень, для советского человека — уровень недостижимый. Если Запад бездуховен, то Советский Союз в этом отношении антидуховен. Я пока никакого духовного голода здесь не чувствую. Люди, с которыми мне приходилось здесь сталкиваться, нисколько не уступают в духовном отношении советским людям, с которыми мы сталкивались в Москве, а многие из них заметно превосходят тех советских людей, которые кичатся своей повышенной духовностью. Высокая российская духовность — это продукт самообольщения, нелепая иллюзия, выражающая осознание фактической духовной ущербности российского человека. Эта иллюзия усиливается за счет весьма своеобразной гордыни, являющейся продуктом нашей трагической истории. Но я убежден в том, что разговоры о высокой духовности людей в России и о бездуховности Запада суть лишь иная форма тезиса официальной советской идеологии о том, что рядовой советский человек на голову выше любого западного человека. Это — один из важнейших пунктов идеологии советизма.

— Вы, конечно, продолжаете здесь свою литературную деятельность. Чтобы вы могли сказать о своих целях здесь как писателя?

— Мои цели как писателя очень просты: писать и быть прочитанным. Я пишу не для развлечения. Я пишу книги, нелегкие для понимания. Я знаю, что теперь не так-то уж много людей, которые относятся к чтению как к труду. Но все же

такие люди есть. И мои книги читаются. А пишу я о том обществе, которое уже сложилось в России и угрожает Западу. Здесь уже многие понимают эту угрозу и интересуются, что она собой представляет по существу. Дальше, чем информировать людей о характере угрожающего им будущего, мои цели не идут. Какие выводы сделают из моих книг читатели — это их личное дело.

— Вы живете на Западе, и ваши книги в основном распространяются здесь, на Западе. Так что в некотором роде вы являетесь писателем для Запада. Думаете ли вы писать о западной жизни?

— Все мои книги — суть книги и о западной жизни, только на фактическом материале Советского Союза. Я писал и пишу о явлениях общечеловеческих, но на материале классически развитого образца такого рода. Мне повезло: общие законы человеческой жизни в советских условиях заметить легче, чем на Западе. Разумеется, мой опыт жизни на Западе как-то войдет в мои книги. Но как именно, пока сказать не могу, ибо сам еще не знаю.

— Вы, очевидно, уже познакомились с положением в среде российской и советской эмиграции, заметили множество группировок и лагерей. К какому из этих лагерей вы причисляете себя?

— Ни к какому. Я и в Советском Союзе был всегда одиночкой. Я общался с людьми, но ни к какой группе — в строгом смысле слова принадлежности к группе — не примыкал. И здесь я в таком же положении — в мои годы невозможно перемениться. Это — моя личная психологическая позиция. Что касается моего мировоззрения, то оно у меня такое /о чем можно судить из моих книг/, что я не могу законсервировать его, примкнув к какой-то группе, секте, партии. Оно представляет собой нечто живое. И я не хочу убивать его какой-либо односторонностью.

— Сейчас циркулируют идеи объединения советской эмиграции. Как вы на это смотрите?

— Кто хочет объединиться, пусть объединяется — здесь, на Западе, это не запрещено. Я, повторяю, ни с кем объединяться

не буду. И в перспективы такого объединения не верю. Я знаю советских людей /а советские люди остаются советскими и на Западе/. И знаю, что может выйти из объединения их здесь, на Западе: советская система в миниатюре со всеми ее атрибутами — чинопочитанием, расправой с инакомыслящими, цензурой и прочими прелестями. Если даже эта объединенная эмиграция будет заниматься антисоветской и вообще антикоммунистической деятельностью, она /вольно или невольно/ даст тот самый пример коммунистического образа жизни, о котором я уже говорил выше. Это будет типичная социально-политическая мафия.

— Сейчас на Западе печатается много журналов и книг на русском языке, представляющих русскую и советскую эмиграцию. Как вы оцениваете эти издания? Отвечают ли они своей миссии?

— Конечно, отвечают. Своей /подчеркиваю/ миссии они отвечают. Они выражают интересы и интеллектуальные потенции определенных людей и групп людей. Они обслуживают прежде всего самих себя. И, надо думать, они собою довольны. И в этом, надо думать, и состоит их миссия. Другое дело — насколько хорошо они служат неким декларируемым ими общественным целям, программам. Но я что-то не встречал ни у кого четко сформулированной программы, по отношению к которой можно было бы дать оценку действиям по реализации этой программы. Потому с определенностью об этих изданиях можно сказать лишь то, что они существуют и являются для кого-то более или менее интересными. Лично я читал и читаю эти издания урывками и не отдаю предпочтения никакому из них.

— А как вы представляете себе печатный орган на Западе, который вы сочли бы своим или, по крайней мере, наиболее близким к вашему идеалу?

— Если вы имеете в виду журнал, в котором я сам захотел бы регулярно сотрудничать, то таковой, увы, практически вряд ли возможен. Такой журнал должен быть явлением в культуре, а не в политике. Я считаю, что сейчас главным для русской и советской эмиграции, точнее говоря — для русскоязычной среды на Западе, является не обличение язв советского общества. Я не отвергаю этого дела, я сам этим занимаюсь, но я говорю здесь о главном среди многих дел. Так вот, главное дело я вижу в создании выдающихся произведений культуры. Главное — не столько говорить о том, что могло бы быть или должно быть, сколько стать заметным образцом в этом возможном и должном. К журналистике это относится в особенности. Но, повторяю, в условиях советизма, хотя и перенесенного на Запад, такого явления в журнальной культуре не допустят прочие собратья по эмиграции. Да и западные организации определенного рода, действующие по тем же принципам, что и советские, т.е. по принципам коммунистического образа жизни, не допустят появления такого журнала. Возможно, конечно, появление небольшой талантливой группы людей с претензией на такой журнал. Но сил её надолго не хватит. И в этих условиях она скоро выродится в заурядно-склочное явление в эмигрантской среде, тяготеющей к посредственности.

— Из ваших книг и выступлений становится очевидным, что вы не выдвигаете никакой положительной программы преобразования общества. Скажите, есть ли вообще у вас какой-то социальный идеал хотя бы лично для самого себя?

— Разумеется, есть. Это — общество людей, в котором можно иногда встретить умных людей и часто — дураков, в котором встречаются люди с честью и бесчестные, добрые люди и злые, способные и бездарные... Это — общество, в котором можно сражаться за свои цели с риском для жизни, в котором проживаются годы страданий и минуты счастья... Короче говоря, мой социальный идеал — мир, как он существует сегодня и как он существовал раньше и как будет существовать в будущем. Но чтобы я сам в этом мире мог идти тем путем, каким хочу. С риском, с сопротивлением, с потерями — в общем, как и подобает человеку моего идеала. Поймите меня правильно: мой идеал — не некое данное состояние, в котором мне и другим людям было бы комфортабельно, а человек, поступающий определенным образом в любом данном обществе, в любой ситуации. В моей книге "В преддверии

рая" есть стихотворение, посвященное людям, которые своей грудью бросались на вражеские пулеметы, бросались с гранатами под вражеские танки и совершали прочие чисто мужские, на мой взгляд, поступки. Эти люди — детали моего человеческого, т.е. социального идеала. Дело не в некоем хорошем состоянии общества, которое должно быть достигнуто, — это пустая абстракция. Дело в людях. Другой человек есть высшая ценность и высший идеал для человека. Так что мой социальный идеал достижим в какой-то мере всегда и недостижим в полной мере никогда. Я — человек сегодняшнего дня. Мой идеал — поведение человека в происходящем, т.е. реальная жизнь.

— И, наконец, последний вопрос — О Боге и религии. Из ваших книг очевидно, что эта проблема образует их некую скрытую пружину. Последняя ваша книга — "В преддверии рая" — книга явно религиозная в известном смысле. Может быть, скажете несколько слов о вашем отношении к религии?

— Я уже как-то говорил, что я по воспитанию в семье, в детстве, в личной судьбе и по психологии человек глубоко религиозный, а по мировоззрению — атеист. Что это значит? Как может существовать такое противоестественное, с точки зрения некоторых людей, явление? Помните, у Есенина: "Стыдно мне, что я в Бога верил, жалко мне, что не верю теперь". Об этой ситуации точнее не скажешь. В детстве я верил в Бога. И носил крест. Однажды в школе нас проверяли "на вшивость" /было когда-то и такое/. Мне было стыдно от того, что у меня могли заметить крестик. И я его снял потихоньку и куда-то спрятал. С тех пор я стал атеистом, постепенно — убежденным в своем неверии успехами науки и техники. Однако что-то во мне все-таки осталось от детства, ибо я всю свою жизнь прожил со смутным ощущением ангела-хранителя у себя... не помню уже, где он должен быть по словам моей бабушки и матери, — в нашем роду женщины были хранителями религиозности. Разумеется, я грешил в жизни много раз. Но я чувствую, что эти грехи мне отпустил бы любой приходской священник. В общем и целом, я шел по жизни с чистой душой. Постепенно я выработал свою

собственную систему принципов поведения, которая во многом оказалась сходной с религиозными учениями. Потом у меня выработался свой взгляд на религию, который частично представлен в книге "В преддверии рая". В двух словах, суть моего литературного интереса к религии такова. Я допускаю чисто атеистическое современное общество и рассматриваю, как в нем зарождаются элементы религиозности и какой вид они приобретают в условиях общества с высоким уровнем культуры и образованности, какую роль они здесь играют. И атеист, ищущий своего Бога в этом обществе, т.е. верующий безбожник, есть явление вполне закономерное. Поиски Бога в этом обществе оказываются тождественными поискам путей для человека сохраниться в качестве ЧЕЛОВЕКА.

ШАНС

Вышел в свет и рассылается читателям первый номер Нью-Йоркского журнала "Шанс", издаваемого международным бракопосредническим бюро. На страницах журнала публикуются статьи о путях организации собственного бизнеса, обзор американского законодательства о браке и семье, интересные статистические данные о жизни современной Америки, брачные объявления на русском и английском языках. Журнал "Шанс" издается шесть раз в год и распространяется больше всего в США и Канаде, а также в Европе и Израиле. Объем журнала 55 страниц.

Заказать можно по адресу:

I.M.B. P.O.Box 248
NEW YORK, NEW YORK 10036,USA.

При заказе высылайте чек на 4 доллара (стоимость пересылки включена).

В 27, 28, а затем в 35 и 36 номерах нашего журнала мы опубликовали отрывки из первой и второй части документального повествования Михаила Демина ("Блатной" и "Таежный бродяга"). Бывший вор в законе, а ныне писатель, живущий в Париже, обращается к теме, тщательно замалчиваемой в Советском Союзе — жизни уголовного мира. В какой-то степени этой же теме посвящается и предлагаемый в 46 и 47 номерах отрывок из третьей части документального повествования Михаила Демина "Горькое золото". В нем судьба снова сталкивает бывшего преступника, ставшего журналистом, с уголовным миром, из которого он когда-то вышел.

Михаил ДЕМИН

ГОРЬКОЕ ЗОЛОТО

РАЗГОВОР В ОБКОМЕ

— Мы знаем о вас немало! Почти все! Знаем, что вы долго сидели; были на Колыме, на 503-й стройке и в "Краслаге". Освободились из заключения в 1952 году. И после освобождения находились в ссылке, в наших краях. А потом из ссылки бежали... Где вы, кстати, шатались все последнее время? Вот только это одно неизвестно.

— Где я был, там меня уже нет, — сказал я. — Предположим, что в самой глуши, в Заполярье... Да какая вам разница? Обстоятельства теперь переменились.

Разговор этот происходил в Абакане, в областном комитете партии. Стояла снежная, суровая зима 1954 года. За окнами густыми хлопьями падал декабрьский снег. Даже не падал, а скорее висел, затмевая даль и налипая на стекла. И в кабинет сочился серый, какой-то зябкий свет. Человек, с которым я беседовал, Николай Димитрович Кудрявцев (заведующий отделом пропаганды и агитации) сидел за огромным,

заваленным бумагами столом. А я помещался напротив — в потертом кожаном кресле для посетителей.

Облокотясь о стол, Кудрявцев негромко сказал:

— Вы правы. Обстоятельства действительно переменились. После смерти Сталина партия приняла новый курс... Но все же не надо думать, будто она переродилась и отказалась от главных своих установлений и правил. Отнюдь! — Он поднял палец. — Вопрос о бдительности, о контроле остался...

— Это все понятно, — досадливо проговорил я. — Но потолкуем конкретно. Обо мне... Областная газета начала печатать мои стихи и очерки. И главный редактор теперь согласен взять меня на работу. Но тут все зависит от вас — так он мне заявил!

— Натурально, — усмехнулся Кудрявцев, — газета всецело подчиняется нам.

— Ну, а вы?..

— Ну, а мы тоже, в принципе, не против. Но существует общее правило: в партийные учреждения и, в том числе в редакции газет, не принимают людей непроверенных, так сказать, с улицы... А вы как раз такой! Уж извините...

— Так что же мне делать?

— Самый простой вариант и самый для вас лучший — устроиться на какую-нибудь другую работу. А уже потом мы вас переведем. Но только — потом! Сначала приглядимся, присмотримся...

— Да к чему, собственно, присматриваться-то? — начал я... и тут же умолк. Понял: передо мной — стена! Ее не прошибешь и не поколеблешь. И обойти ее тоже нельзя. Надо смиряться — ничего не поделаешь!

— Вы говорите, — устроиться, — вздохнул я. — Но куда? Куда? Может, вы мне посоветуете?

— А что вы, собственно, умеете? — поинтересовался Кудрявцев, — у вас есть какая-нибудь "мирная" специальность? — И он добавил, помедлив. — Насколько нам известно, вы были блатным... Профессиональным вором...

— Чепуха все это, сплетни, — воскликнул я возмущенно,— ну, посмотрите на меня, разве я похож на блатного?

Кудрявцев прищурился, разглядывая меня. Потом сказал добродушно:

— Вообще-то, лицо у вас уголовное. Что-то есть в нем такое... — Он пощелкал пальцами. — Специфическое...

— Ну, не знаю, — пожал я плечами, — не знаю, что вам померещилось. Во всяком случае, я по специальности художник-график. Иллюстратор. И, между прочим, хорошо знаком с оформлением и производством газеты.

— Что-о? —удивился Кудрявцев. Брови его полезли вверх,— Это каким же образом?

— Так ведь я — старый фронтовый журналист, — пояснил я, глядя на собеседника невинными голубыми глазами. — вам об этом разве не докладывали?

— Н-нет. Но вы, все-таки сидели?

— В общем, да, пришлось. А кто тогда не сидел?

— И арестовали вас за железнодорожный грабеж, не так ли?

— Эх, да какой там грабеж, — махнул я рукой. — Просто в поезде началась облава. Чекисты искали каких-то бандитов... Никого не нашли — ну и стали хватать всех подряд. Так вот я и попал. А ведь тогда, при сталинском режиме, как было? Если уж попался, то не вырвешься...

— Где ж это происходило? Когда?

— На Украине, в 1947 году. Помните, какое было время?

— Конечно. Но все-таки. — Он насупился, бормоча. — Странно как-то, непонятно...

И вдруг потянул к себе лежащий на углу стола свежий номер газеты.

— Значит, вы — журналист?

— Да, — сказал я нагло, — еще какой!

— Проверим.

Кудрявцев с треском развернул газету и потом — постукивая ногтем о крупный, верхний, идущий через весь лист, заголовок, сказал:

— Существует определенная журналистская терминология. Вот как, например, такой заголовок называется?

— Шапка.

— Так. Ну, а это? — Он указал на большую статью, помещенную в самом низу страницы.

— Подвал.

Я отвечал легко и небрежно. И с благодарностью вспоминал в эту минуту старого своего лагерного приятеля Роберта Штильмарка. Три года назад на печально знаменитой 503-й стройке он обратил внимание на мои стихи и песни, поверил в меня, как в литератора. И как-то раз подарил мне книгу "Оформление и производство газеты", которую он принес с воли и постоянно хранил при себе. Вручая ее мне, он сказал: "Прочти и запомни — на свободе это тебе пригодится!" И хотя я плохо тогда представлял себе свое будущее и не очень-то верил в добрые перемены, я все-таки книгу взял. И пронес через многие этапы и штрафняки. И частенько читал ее, валяясь на грязных дощатых нарах. И вот теперь прочитанное действительно пригодилось, внезапно выручило меня. Кудрявцев был просто потрясен моей эрудицией. Проэкзаменовав меня и сложив газету, он сказал, закуривая:

— Получилась какая-то путаница. Вы, я вижу, специалист. Что ж, это упрощает.

Я встрепенулся при этих его словах, напрягся выжидательно. Теперь, подумал я, разговор пойдет по-иному. Может, он все-таки переменит решение?

Но нет, он не переменил его.

— В общем, так, — сказал он, стукнув ладонью о край стола, — прежний уговор остается в силе. А с работой — что ж, поможем, подсобим! Вот, кстати. — Он заглянул в настольный блокнот. — У нас в Алтайском районе,* селе Очуры, открыт сельский клуб. Требуется заведующий... Думаю, это вам на первых порах подойдет. — И посмотрел на меня пристально.— Ну, как?

— Ладно, — пробормотал я.

---

*Не следует смешивать маленький "Алтайский район", находящийся в Хакассии, со знаменитым горным Алтаем... На тюркских языках "Алтай" означает "золото". И таких названий встречается немало в Центральной и Северо-Восточной Азии.

— Там, в клубе, вы, кстати, примените и ваши художнические таланты. Там они пригодятся. Видите, как все хорошо устраивается! Ну, а что касается редакции...

— Да. Как насчет этого?

— Можете поддерживать с ней контакт, продолжать писать — почему бы нет? Это не возбраняется. Будете, так сказать, внештатным корреспондентом нашей газеты по Алтайскому району.

* * *

Так произошел в моей жизни перелом. До этого я жил поистине волчьей жизнью — тревожной, тоскливой и неприкаянной. Я постоянно скрывался от властей и метался по всей стране. Сначала — как блатной, а потом — в качестве бездомного северного бродяги.

Бродяжий этот, послелагерный путь начался в Красноярске два года назад. Я вышел тогда из ворот пересылки, исполненный радужных надежд и планов. (Незадолго до освобождения я ухитрился переслать в местное отделение Союза писателей тетрадку своих стихов и мечтал об успехе!). Я мечтал об успехе, но все обернулось позором. Писатели не приняли меня. И так оно и пошло, повелось: что бы ни делал я, что бы ни затевал, все неизменно завершалось бедою. Я бежал из ссылки — и голодал, и мерз. Испытал тоску полярных пустынь. Повидал почти все арктические моря. А затем на китобойной шхуне обогнул азиатский материк. То был тяжкий период: я почти совсем разуверился в себе как в поэте. Но потом, после смерти Сталина, я вдруг узнал, что в Южной Сибири, в Абакане, меня начали помаленьку печатать.

И вот, я вернулся в Хакассию — в места старой ссылки, — туда, где ударили наконец колокола моей судьбы.

Все, правда, получилось не совсем так, как мне хотелось бы. Я ведь стремился попасть в газету; редакционная работа, как мне думалось (и теперь, оглядывая пережитое, я сознаю, насколько я был тогда прав), работа эта должна была послужить мне своеобразной школой, научить меня многому и сблизить с творческой средой. Однако местное начальство — как вы уже знаете — отнеслось ко мне с некоторым недоверием. И опять, как и встарь, как бывало, мне пришлось хитрить, кривляться и делать "голубые глаза".

Что ж, голубые глаза помогли. И хотя все получилось не так, я тем не менее не отчаивался. Я давно уже привык к тому, что судьба ничего не дарит мне, не дает мне быстро, легко.

Первый шаг был сделан, теперь требовалось как можно скорее отправляться в неведомые Очуры, закрепляться там и начинать работать. В Абаканском обкоме партии мне ясно дали понять, что эта работа будет засчитана мне как некий испытательный срок.

ГОРЬКОЕ ЗОЛОТО

Отправляясь в Очуры, я навел предварительно справки и выяснил, что село это глухое, таежное, расположенное в стороне от железной дороги, на берегу Енисея. Село почему-то пользовалось скверной репутацией. Жители там, по общему утверждению, были хитрецами и лентяями, а местный колхоз являлся самым нищим во всей Южной Сибири.

"Ну, удружил, сукин сын, — со злобой думал я о Кудрявцеве, — подыскал местечко!"

Я думал так, подъезжая к Очурам на попутном грузовике. Дорога вывернула из-за густой еловой гривы и пошла через колхозные угодья. Они были заметены снегом, над ними вилась и дымилась голубая поземка. И в этом дыму виднелись какие-то постройки — дряхлые бараки, покосившиеся сараи.

— Словно после пожара или бомбежки, — подумал я, озираясь по сторонам.

Но каково же было мое удивление, когда мы въехали в село. Контраст между ним и колхозом был разительный. Если в колхозе царил дух разрухи и запустения, то здесь наоборот. Избы здесь стояли добротные, крытые железом. Мелькали резные наличники и нарядные крылечки. За высокими, крепкими оградами бесились цепные псы.

Село это, — как и большинство вообще сибирских сел, —

было большое, многолюдное, протянувшееся вдоль реки на полтора километра. Пока мы ехали к центру, нам встретились два мотоциклиста. Они промчались один за другим, гремя и разбрызгивая снежные искры. Проводив их удивленным взглядом, я сказал шоферу:

— Что-то не пойму... При таком бедном хозяйстве — откуда весь этот шик?

— Ничего, не смущайся, — ответил тот, — потом поймешь. Тут, друг, чудеса творятся. Это не Очуры, это страна Лимония.* Знаешь такую сказочную страну? В ней сорок лет гудки гудят, и двадцать — люди на работу собираются...

В чудесах этих я разобрался довольно быстро. Захолустные Очуры, как выяснилось, являлись центром грандиозной, хорошо налаженной спекуляции.

На приусадебных участках, в частных огородах, здесь выращивался чеснок и превосходный репчатый лук, который жители села регулярно сплавляли по Енисею вниз, в арктические районы, за полярный круг. Занималась этим вся местная молодежь, все здоровое население Очур. В колхозе же трудились старики, — толку от них, естественно, было мало.

Я познакомился с клубным баянистом, Петром Азаровым (который временно, до моего прибытия, исполнял обязанности заведующего), и тот за бутылкой водки мне кое-что разъяснил:

— Лук и чеснок, — сказал он, — в Заполярье — огромная ценность. Они там не растут, а нужны всем. Это же — спасение от цынги! Ну, а государственное снабжение, сам знаешь какое. В магазины поставляют овощи плохо, нерегулярно. Иногда их вообще не бывает по полгода.

Был баянист невысокий, с выпуклым брюшком, с заметной лысиной (хотя еще и не старый!). И он постоянно посмеивался, поджимая пухлый рот и часто помаргивая белыми ресницами.

*Это — из старинного сибирского каторжного фольклора. "Страна Лимония" — рай. Блаженное место, где не надо работать.

— Ты знаешь, каков основной закон социализма? — спросил он, пригибаясь, — основной закон — это постоянные временные трудности! Так вот, в результате постоянных этих трудностей возник черный рынок. И очурские мужики развернулись на этом рынке, в районах золотых приисков, — в Туруханске, в Енисейске, на реке Курейке. За килограмм лука дают от тридцати до пятидесяти граммов золотого песку. А иногда — особенно зимой — и все сто! — Он хохотнул. — Во по какой цене идет наш лучок! Понял? А теперь посчитай. В обычном крестьянском мешке килограммов двадцать, не меньше. И если привезти вниз, в Заполярье, десятка два мешков! Знаешь, как здесь называют лук? Горькое золото!

— Горькое золото? — переспросил я, да у вас, в Очурах, я вижу, поэты живут!

— Поэты, — покивал, хихикая, Петр, — это ты точно... Двух таких поэтов я лично знаю: Салов и Кузмичев. Один из них начал этим делом промышлять еще в тридцатые годы, а другой, Кузмичев, развернулся уже во время войны. У них, у каждого, есть слушок, миллиончика по два зарыто где-то.

—Где?

— Ха! Если б знать! Мне, брат, самому интересно.

Он опять потянулся к бутылке, встряхнул ее, посмотрел на свет. И аккуратно разлив остатки по рюмкам, продолжал:

— Да они не одни такие. Это два известных миллионера, а сколько еще тайных, скрытых? Как навигация откроется, сам увидишь: мужики толпами повалят на север.

—Как же они сплавляют свой товар? Тут ведь транспорт нужен...

— А у них контакт с речниками! Нанимают в Абаканском пароходстве несколько грузовых барж и оформляют сделку официально. Лук идет как колхозный! У них, брат, все отполировано.

— Постой, значит, и начальство заодно с ними? В курсе дела?

— Не только — в курсе, но и в доле... Наш парторг Никольский и сам выращивает лучок. Загляни как-нибудь к нему в огород... Такая плантация!

— А кстати, ты, — поинтересовался я, — тоже, небось, выращиваешь, а?

— Что ж мы, хуже других? — отозвалась жена Петра — Людочка, бойкая и миловидная бабеночка. До сих пор она помалкивала, теперь вдруг решительно вмешалась в беседу. — Нет, мы тоже не лыком шиты! Здесь мы, правда, люди новые, второй год всего. И не сразу разобрались... Но сейчас-то уж знаем, — что к чему!

Я долго просидел у Петра, у этого любителя роскошной жизни. Он рассказал мне немало любопытного... А затем, уже в сумерках, пошли мы по селу подыскивать мне жилье.

И вскоре нашли; это была просторная изба-пятистенка, стоящая над рекой, над самым обрывом. Обитала здесь пожилая вдова Наталья Макаровна Болотова (которую, впрочем, все звали просто — Макаровной), и больной ее сын Алексей. Чем он болел, я так и не понял поначалу. Был он, парень молодой и плечистый, с одутловатым бледным лицом, густой копною рыжеватых нечесаных волос и странным бегающим взглядом.

Вот только один этот взгляд и настораживал, и навевал некоторые сомнения.

Макаровна, говоря о сыне, сделала рукой неопределенный жест:

— Что-то у него нервное. Он раньше шофером был. А с прошлой весны, с апреля, освобожден от работы по инвалидности. Отдыхает. Ему покой нужен!

— Мне тоже, кстати, нужен, — сказал я. — И если тут действительно тихо...

— О, насчет этого не беспокойся, — заверила меня вдова, — у нас, как в могиле. Да и просторно. Вся вторая половина избы — твоя!

Мы легко с ней сладились (цену она назначила невысокую), и я тотчас же перетащил на новое место пожитки. Их было немного: старый рюкзак с барахлом и чемодан, нагруженный книгами и рукописями.

СТРАННЫЙ ДОМ

Оставшись один, я разложил на столе бумаги. Присел, закурив. И задумался.

Я перебрал в памяти события дня, пытался разобраться в них. И вдруг, непонятно почему, передо мною возникло видение детства. Я не звал это воспоминание, оно пришло само. Наша память — как клубящийся туман. В мутных волнах его маячат фигуры людей и очертания предметов; то проступают отчетливо, то растворяются, тают. А иногда, под порывами ветра, пелена тумана колеблется и рвется, и тогда на какое-то мгновение открывается яркий пейзаж...

И сейчас я увидел пейзаж своего детства, узнал окрестности Подмосковья. И разглядел на зеленой лужайке себя самого, отчаянно дерущегося, измазанного в крови, окруженного толпой возбужденных подростков.

Я дрался с врагом своим, соседским мальчишкой. (Не помню уж, по какой причине возникла эта вражда. Но, впрочем, врагов у меня всегда хватало с избытком!) Схватка была нешуточной — до полной победы. И тянулась она долго. Противник был покрупнее меня, покрепче, но я знал, что не уступлю ему, не поддамся. И сопя, задыхаясь, бил его. Принимал удары и снова бил. Все бил и бил. Мне легче было бы умереть, чем проиграть. Особенно здесь, сейчас, на виду у толпы.

И я в результате выиграл. Сбитый с ног, он не поднялся, остался на земле. Ах, это был триумф! Исполненный гордости и торжества, я постоял над ним, подбоченясь. А затем побежал к своему дому. Ребята бросились за мной следом. Но они не обгоняли меня, держались почтительно сзади. Они сразу, дружно признали во мне вождя. И я чувствовал это!

Я бежал, как бегают чемпионы — небрежно, вразвалочку, с эдакой ленивой грацией. И неожиданно возле самого дома поскользнулся, потерял равновесие. И с размаха шлепнулся лицом в дерьмо.

Я поднялся, весь скорчившись, содрогаясь от отвращения. Зловонная желтая жижа текла по моим глазам. На мгновение

я ослеп... И сразу же услышал хихиканье. Из героя и победителя я мгновенно превратился в посмешище, в ничто.

Этот пустячный давний случай показался мне почти символическим. В самом деле, разве не так сложилась и вся моя взрослая жизнь? Не под тем ли знаком она проходила? Я постоянно рвусь к победе и падаю, поскользнувшись...

— Не оказаться бы в таком положении и сейчас, — подумал я с мрачным юмором,— не поскользнуться бы... Ведь, что происходит: я, начинающий журналист, сразу же, с первых шагов, наткнулся на богатейшую тему "Очурские миллионеры" — какой это материал для статьи! Какая редкостная находка! (Тут меня, надеюсь, поймет любой газетчик.) И конечно же, отказываться от такой находки глупо. Да и вообще — нельзя. Но с другой стороны, к чему это может привести? Статья, разумеется, нашумит, создаст мне имя. И в тоже время она явится обвинительным материалом против крестьян. Я выступлю как разоблачитель и сделаю имя на чужой беде. А ведь крестьянство и так испытало немало: пережило свирепый классовый террор и повальный голод тридцатых годов, а затем — и сороковых. Пережило все это и поднялось как бы из праха. И вот здесь, в Очурах, сумело жалкие свои огороды превратить в источник небывалых доходов. Конечно, местные мужики — спекулянты, торгаши. Но ведь не они же, в конце-то концов, создали черный рынок! Мужички — что ж, они просто использовали ситуацию.

Так в одиночестве, без сна, я сидел и чувствовал, что в обоих случаях (напишу ли я или нет) я одинаково могу поскользнуться. Речь так или иначе идет о предательстве. Или я предам людей или же самого себя, свои интересы, свою карьеру.

В моих рассуждениях был только один пункт, не вызывающий ни малейших сомнений. Если очурских мужиков я жалел, то местного парторга — нет, никак! Мужики — извечные жертвы властей, им можно многое в связи с этим простить. Но зачем, ради чего прощать представителю власти, секретарю партийной организации?! Его участие в спекуляциях — это ведь не борьба за жизнь, а просто, грязная жажда

наживы. Причем здесь он спекулирует вдвойне, ибо пользуется партийными привилегиями и обманывает свою партию.

Вот о нем бы я написал охотно! Но тут опять свои сложности. Стоит мне только затронуть имя этого подонка, и сразу же потянется ниточка ко всем остальным...

Машинально я глянул на часы: время уже далеко перешло за полночь. Стояла глухая, поздняя, предутренняя пора. Ноги затекли, занемели от неудобной позы, и я поднялся, разминаясь. И подошел к окну.

За ним, в пепельном лунном дыму, лежал Енисей — одна из величайших азиатских рек. Отсюда, с обрыва, хорошо было видно белесое его, ледяное плато. Он широко лежал, Енисей. Здесь, в среднем течении, ширина его была около километра.

И вглядываясь в светлую мглу за окошком, я внезапно подумал о том, что мы оба с этой рекою — бродяги. И наши судьбы схожи. Мы начинали бурно, извилисто, суетясь и куда-то спеша, а теперь уже прошли часть пути и обрели размах и некоторое спокойствие. Остепенились. Перевалили рубеж... (Хотя мне было тогда всего лишь двадцать восемь лет, — вроде бы совсем немного, — в действительности же я чувствовал себя старше, гораздо старше). Я всегда жил как бы с двойной нагрузкой. Жил — за двоих. И если это учесть, то возраст у меня получился солидный. Такой, при котором уже нельзя, непозволительно было суетиться и путаться.

Так, незаметно, начали рождаться стихи. "Среднее теченье,— думал я, — это значит: путь к седым вершинам жизни начат!"

И уже знал я: статью о "Горьком Золоте" я никогда не напишу. Но зато в первом же моем письме в редакцию будет послано новое стихотворение.

Кто-то легонько тронул меня за плечо, и я обернулся стремительно. И увидел Алексея.

Как он появился здесь? И зачем? Его шагов я не расслышал, не ощутил, значит, он специально подкрадывался сзади.

— В чем дело? — спросил я угрюмо. Я не любил, когда кто-то дышит за моей спиной, возникает исподтишка. — Что? Не спится?

— Да уж какой тут сон, какой сон, — забормотал он. И осекся с перехваченным дыханием.

И некоторое время стоял так, весь напрягшийся, со взмокши ми висками, с застывшим недвижимым лицом.

Он стоял вплотную ко мне. Но глаза его бегали, ускользали, и я все никак не мог заглянуть в них. Они смотрели мимо меня, в окно,

— Какой тут сон... Они же там! Ты тоже, наверное, заметил.

— Что заметил? — спросил я удивленно.

— Ну, что. Будто не понимаешь. Прислушайся!

Он подался к окошку, вытянул шею.

— Вон — скрипнуло. Слышишь? И еще... Это они! Ходят возле дома. Все ходят и ходят. Каждую ночь!

— Да кто ходит-то? — нахмурился я, — кто? Что это еще за чертовщина! Ничего я не слышу. Да и нет там никого...

— А зачем же ты стоишь тут? — усмехнулся он недоверчиво, — на что смотришь-то?

— Просто так. На Енисей. Гляжу вот, думаю.

— Ой, не хитри, не хитри! — Он погрозил мне пальцем. И тут наконец наши взгляды встретились, пересеклись.

Зрачки его были расширены, непомерно велики. И они дышали, подрагивали. Впервые в жизни я видел, как дрожат глаза. В них не отражалось ни единой живой мысли — только страх. Один только темный, слепой страх.

И положив на плечо ему руку, я тогда сказал как можно проще и ласковей:

— Послушай, успокойся. Я не хитрю. Иди к себе — ляг, усни... А если я что-нибудь замечу, я тебя сразу же предупрежу. Обещаю!

— Правда? — Лицо его сразу помягчело и осветилось улыбкой. — Обещаешь? Ну, тогда ладно. Пойду.

— Странный дом, — подумал я, укладываясь. И невольно вспомнил слова, сказанные Макаровной: "У нас тихо, как в могиле".

И в этот самый момент из-за двери, из другой половины избы донесся тихий, прерывистый, скрежещущий звук.

— Что еще там делают? — удивился я. Прислушался. И понял вдруг, догадался: с таким вот скользким скрежетом точится на оселке сталь ножа.

НАЧИНАЮ ДЕЙСТВОВАТЬ

На следующее утро состоялось мое вступление в должность директора. Я обошел все помещения клуба — двухэтажного, барачного типа здания — и принял от Петра под расписку казенное имущество.

Среди клубного инвентаря оказалась, между прочим, старенькая легковая машина "ГАЗ" (помещавшаяся во дворе, в дощатой пристроечке). Осмотрев ее, я спросил:

— А шофер есть?

— Ну, откуда, — сказал Петр, — здесь же ведь не театр, а сельский клуб. По штату положены только трое: директор, худрук и уборщица. — И потом, ухмыляясь. — А ты сам-то разве не водишь?

— Да нет, — проговорил я невнятно, — не успел, понимаешь, научиться. Времени все не было. Но, черт возьми, как же быть без шофера?

— Обойдемся, — похлопал он меня по плечу. — Я, вообще-то, умею немного. Теперь ты мой начальник, прикажешь — повезу.

Он весело говорил со мной, беззаботно, и это меня порадовало. Происшедшая с ним перемена его как бы даже устраивала, удовлетворяла.

Да он мне погодя так и заявил:

— Знаешь, я доволен. Теперь я вольная птица! Мое дело — музыка, самодеятельность, работа с молодежью. А где она, молодежь? Ей не до песен, она луком занята. Ну и я могу заняться, чем хочу. А на директорском посту все время суета, хлопоты. Вот завтра, к примеру, привозят новый фильм, и надо подготовить зрительный зал.

— А что там готовить? — небрежно поинтересовался я.

— Ты видел, в зале, в углу навалены скамейки? — сказал он, — мы их недавно только приобрели. Так вот, они еще не

крашены. Их нужно сегодня же успеть покрасить и, главное, пронумеровать. Учти, на носу праздник. Новый Год!

Затем он заторопился, стал прощаться. И пожимая мягкую, влажную его ладонь, я спросил растерянно:

— А разве ты не останешься?

— Нет, брат, некогда, — мигнул он, — пойду домой, музыкой подзаймусь...

* * *

Итак, я начал действовать.

Порывшись в клубной кладовке, я разыскал зеленую краску для скамеек, светлый сурик для цифр.

Я малевал и посвистывал и одновременно размышлял о ночном происшествии — о больном Алексее.

Странная все-таки у него болезнь. Ведь он болен страхом; это похоже на манию преследования. Но как же она возникла, эта мания, по какой причине?

Есть в медицине такое понятие: "психическая защита". У городских жителей, у интеллигенции, "защита" эта ослаблена, и потому так много там всяческих психозов и комплексов. Город порождает или анархическую личность (пафос которой — разрушение), или же личность больную, безвольную, ослабленную страстями и страхами... Но деревенская среда иная. Люди здесь, может быть, не намного лучше городских, но все же — проще, целостнее, ближе к земле. И жизнь их менее суетна. И если у такого молодого, крепкого деревенского парня, как Алексей, появляется мания преследования, для этого должны быть веские основания.

Но что я, собственно, знаю об Алексее? Знаю, что он коренной житель села. В Очурах родился, рос и учился. Потом работал шофером на кирпичном заводе. Все шло нормально, но вдруг весной 1954 года что-то случилось с ним.

Он перестал ходить на работу, стал бояться темноты, начал страдать бессонницей. И когда мать отвела Алексея к врачу, тот сразу же признал его больным. Затем, на медицинской комиссии, Алексею дали временную инвалидность.

Так что же все-таки случилось? Что могло столь сильно напугать его, ошеломить, подвести к черте безумия?

Погруженный в раздумья, я трудился весь день, до темна. И, покончив с покраской скамеек, долго еще возился в клубе: наводил порядок, подновлял старые, выцветшие плакаты и лозунги. И стены здания преображались под моими руками, обретали праздничную пестроту.

Уснул я под утро. И, засыпая, вздохнул утомленно и пробормотал, обращаясь непонятно к кому:

— Я вам покажу, что такое настоящий директор! Настоящий мастер! Вы надолго запомните имя Михаила Демина.

* * *

Я ужинал, сидя в закусочной. Время было восьмой час. До начала первого сеанса оставалось минут двадцать, и я, закончив все дела, отдыхал, благодушествовал, неторопливо потягивая пивко.

Дверь закусочной распахнулась с грохотом. И на пороге возник человек в заснеженной волчьей дохе, в шапке, сдвинутой на бок. С минуту он постоял, озирая зал. Затем крикнул:

— Эй, кто тут новый директор клуба?

Пробегающая мимо официантка указала на меня. И он зашагал вперевалочку и, подойдя ко мне, грузно оперся ладонями о столик.

— Так это ты, значит!

— Ну, я, — сказал я, поднимая лицо.

— Хорош гусь, — протяжно проговорил незнакомец, — хорош. Значит, вот так ты и директорствуешь?

Лицо у него было злое, темное, на щеке подрагивал желвачок. И я спросил, настораживаясь:

— А вы по какому, собственно, вопросу?

— По какому? — прищурился тот, — не знаешь? Натворил делов, а потом целочку строишь, а?

— Да кто вы такой?

— Киномеханик.

— Ну и что?

— Как — что? — грозно нахмурился он, — я же должен продать все билеты, у меня план, понимаешь? Мне надо выручку собрать. А как я соберу ее сейчас, после твоих фокусов?

Я еще не понял, в чем дело, но тоже уже начал сердиться. "Черт возьми, — подумал я, — что же это он называет фокусами? Я работал почти сутки. Перекрасил старый этот сарай. И вот благодарность!"

Но тут же у меня мелькнула мысль: может, вся суть именно в краске? Она, очевидно, не высохла, и сидения пачкают.

— Так вы о скамейках, что ли? — спросил я.

— Конечно, — сказал он. — Как теперь на них сидеть?

— Ну, это уж не моя вина, — начал было я, усмехнувшись. Но он перебил меня яростно:

— А чья же? Чья же еще? Ты как их пронумеровал? У меня билеты стандартные. На каждом обозначен определенный ряд и место. А ты пустил номера вкруговую. И сейчас там, в зале паника, драки, скандал...

Пока мы толковали с ним, в чайную набилось много народа. Люди обступили нас плотной стеной. И какая-то девушка, протягивая мне билет, воскликнула плачущим голосом:

— Вот, смотрите: шестой ряд, восьмое место. А в клубе в этом ряду номера идут от семьдесят шестого до девяностого. Куда ж садиться? Это... Это какое-то хулиганство!

— А у меня, — вмешался кто-то, — в одиннадцатом ряду оказался номер 170.

Я сидел подавленный и словно бы закаменевший. Да и что я, собственно, мог сказать? Что я человек рассеянный? Что я думал во время работы о другом?..

В захолустном таежном селе кино всегда праздник. Сюда его привозят раз в неделю, а порою еще реже. И вот сейчас этот праздник (да еще под самый Новый Год) сорвал, испортил я, пришлый, никому не ведомый человек.

А ведь вы и сами, верно, знаете, как относятся в деревнях к чужакам...

— Ты, что ли, ненормальный? — спросил киномеханик.

И покрутил у виска толстым мохнатым пальцем. — Одной гайки не хватает, а? Откуда ты только взялся такой?

И опять невольно припомнился мне давний, детский случай тот, когда я упал, поскользнувшись. Я находился сейчас в таком же состоянии. И не знал, как подняться. Но внезапно, появился мой помощник, баянист. И выручил меня!

Выручил, надо сказать, просто, легко, с ловкостью прямотаки гениальной.

Протиснувшись меж людьми, он ухватил механика за рукав и зачастил, задышал ему в ухо:

— Ну, чего ты шумишь? Пойми, это все по пьянке вышло! Мы вчерась отмечали его приезд, ну и ошиблись малость. Так что тут общая наша вина.

— Ах, так вот в чем дело, — медленно проговорил механик и улыбнулся, — надрались, значит, сукины дети?

— Да уж, случился такой грешок, — сказал смирным голосом Петр. — Но мы ведь все тут грешники. С кем такое не случалось?

И он обвел взглядом толпу, как Христос, когда тот спрашивал, кто первым кинет в Магдалину камнем.

Нет, камнем никто в меня не кинул. Наоборот, в притихшей толпе расцвели улыбки, посыпались шуточки. Лица людей мгновенно подобрели. В России пьяных понимают, жалеют. К ним спокон веку относятся сочувственно. Существует даже древняя народная поговорка: "Пьяный проспится, дурак — никогда!"

И вот именно эти слова повторил киномеханик. И потом, поворачиваясь к народу, добавил:

— Что ж, коли так получилось, обделаем все тихо. Идите, братцы, садитесь, кто куда сможет. Проведем этот вечер, как в Европе. Там у них сроду места не нумеруются. У них все от быстроты зависит. Кто первым успеет — тот и пан!

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

А в доме у меня все шло по-прежнему. Странности продолжались. Алексей точил по ночам ножи, и я, засыпая, частенько слышал скрежет стали, скользящей по оселку.

Наконец я решил поговорить с ним откровенно, по душам.

Мне не надо сильно напрягать память, чтобы подробно, во всех деталях восстановить события тех дней. Они мне помнятся отчетливо. Ведь это был, по существу, мой самый первый шаг на поприще частного детектива. Я вот сказал "события тех дней", но, пожалуй, правильнее было бы сказать "ночей". Когда я думаю об Очурах, то село это все время предстает мне в каком-то странном, ночном освещении...

И когда мы разговорились с Алексеем, опять была ночь. За окнами клубилась черная, непроницаемая, густая, как деготь, тьма. Мы с ним не спали, вместе пили чай. И я сказал Алексею:

— Послушай, ты понимаешь, как ты живешь? Ты же так окончательно чокнешься. Все время ждешь чего-то, чего-то боишься и молчишь. Не молчи! Расскажи мне все, и сразу тебе станет легче. Поверь, я тебя не выдам, не подведу, может, даже помогу кое в чем.

Он быстро, исподлобья глянул на меня. И спрятал глаза. И какое-то время сидел так — насупившись, собрав морщины на лбу и у рта.

— Ладно, — погодя, сказал он. И завозился, прикуривая, нервно ломая спички. — Помочь ты мне вряд ли сможешь. Но — расскажу!

Речь его была сбивчива, путана, неровна. Но я слушал внимательно. И вот что выяснилось в результате.

Прошлой весною, в середине апреля, он ехал на машине, на трехтонном заводском грузовике, по таежной дороге. Был вечер тогда, заря сгорела, и по сторонам, обволакивая стволы, уже текла густая синяя сумеречь. И вот из этой полутьмы выступили вдруг черные людские фигуры. И Алексея мгновенно охватил панический страх. Он давно уже знал о том, что в окрестной тайге бродит банда ночных налетчиков. Называют ее "Черная Кошка". С заходом солнца наступает ее час. И Алексей решил, что встретился именно с нею.

Появившиеся из чащи люди сгрудились у дороги. Один из них выбежал навстречу машине и что-то крикнул. И стал, раскинув руки крестом. Он явно хотел остановить Алексея, задержать во что бы то ни стало. Алексей так это и понял, но не затормозил, а наоборот, зажмурился и дал полный газ.

Грузовик рванулся и сшиб стоящего на пути человека. Вдогонку понеслись проклятья, вопли. Ударил выстрел. Кто-то погнался за машиной, но вскоре отстал...

В тот вечер Алексей долго, допоздна кружил по дорогам, ему все мерещилась погоня. Наконец, вернулся домой. Но и здесь он тоже не обрел покоя. "Если они заметили номер машины, — думал Алексей, — я пропал. Они все равно до меня доберутся". Мысли эти, раз возникнув, уже не оставляли его. И так, постепенно, пришла к нему болезнь.

— С тех пор ты, значит, и точишь ножи?

— Ну да. Надо всегда быть готовым. Они придут ночью, будут думать: я сплю. А я — вот он. Жду. И ножичек мой, как бритва, во-острый!

— Но ты уверен, что человек этот действительно мертв? Ты же ведь сам говоришь, зажмурился.

— Ну, и что? Я все равно знаю. Слышал.

— Что же ты слышал?

Он зябко поежился, как на морозе. И потом сказал:

— Хруст костей... Жуткий, какой-то мокрый хруст.

Сутки спустя мы с Петром Азаровым отправились на нашем газике в городок Алтайск, в районный центр.

Мне надо было побывать там в отделе культуры (которому я как директор клуба был непосредственно подчинен), а также заглянуть в редакцию местной многотиражки (я писал стихи и корреспонденции не только для областной газеты, но и для этой — тоже).

И была у меня, помимо этих задач, еще одна, особая.

Я решил зайти в районное отделение милиции и побеседовать там с кем-нибудь об обстоятельствах, связанных с Алексеем. Именно об обстоятельствах. Лично о нем я предпочитал пока не упоминать; меня сейчас интересовало другое: произошло ли в тайге происшествие, подобное тому, о котором он мне рассказал? Было ли это в действительности? Если да, милиция должна была бы знать. Ведь случилось это не в глуби-

нах тайги, не в дальних ее чащобах, а поблизости — в людных, густо населенных местах.

И вот, когда я разыскал алтайскую милицию, я словно бы наткнулся здесь на невидимый барьер.

"Барьером" этим была моя память, мой старый инстинкт — память лагерника и инстинкт бродяги.

Всю свою прошлую жизнь, всю молодость я провел в конфликте с властями. Я привык смотреть на милицию с позиции преследуемого и относиться к ней, как к врагу. Это чувство враждебной отчужденности укоренилось во мне прочно, вошло в мою кровь и плоть. И вдруг теперь я являюсь туда совершенно свободно, на равных.

— Мда... многое в моей жизни меняется, — усмехнулся я, топчась у дверей милиции. — Из мира привычных плоскостей я как бы перехожу в новое, другое измерение. Ну что ж. Если уж переходить, так сразу, не колеблясь.

И растоптав в снегу недокуренную папиросу, я толкнул тяжелую, обитую войлоком дверь.

* * *

Начальник оперативного отдела, старший лейтенант милиции Анатолий Хижняк, был человеком немолодым и, видимо, сильно усталым. Плохо выбритое, костлявое лицо его испещряли морщины, голос звучал тускло, хрипловато.

Порывшись в бумагах, он сказал:

— Нет, в Очурской тайге за последнее время никаких трупов обнаружено не было.

Хижняк поскреб щетину на подбородке. И поднял покрасневшие, воспаленные глаза.

— В другом селе, Белый Яр, действительно произошло недавно убийство. Но преступление уже раскрыто, убийца задержан. Скоро будет суд. Вот так. А в Очурах, в общем, пока тихо.

— Есть, однако, люди, — проговорил я с сомнением, — которые утверждают, что там орудует какая-то банда.

— Банда там, это верно, была — подтвердил инспектор, — но мы ее здорово потрепали, и она, по агентурным сведениям, перебазировалась в северные районы. Можете так и написать.

Войдя к нему, я сразу же представился журналистом, предъявил удостоверение внештатного корреспондента, и он теперь думал, будто я собираю материал для своей газеты.

— Да, можете так написать. Ушла после столкновения с нашей оперативной группой.

— Ушла? Когда?

— С весны прошлого года.

Он помолчал. И вдруг, прищурившись, спросил меня:

— Вы говорите: есть какие-то люди, которые утверждают. Это кто же, а? Уж не Алешка ли Болотов?

Я даже покачнулся от удивления: вот этого, признаться, я никак не ожидал. Неужели он знает Алексея и все, что связано с ним?

— Я все знаю, — покивал с усмешкой Хижняк. — А как же! Такая уж моя обязанность. Но должен вам сразу сказать: то, что Алексей утверждает, бред, пустяки.

— Почему же? Мне это, наоборот, показалось весьма серьезным.

— Да ведь он же псих! Или же — что еще более вероятно — простой симулянт, притворщик. Выдумал историю с бандой и кантуется теперь. Легкую жизнь себе сыскал. У него ведь временная инвалидность, "вторая группа", так что пенсия обеспечена.

— Ну, пенсия-то, я думаю, пустяковая.

— А много ли ему надо, в избе своей сидючи?

— Вы, вообще-то, говорили с ним?

— С ним лично — нет. Но к нам приходила Макаровна, его мать, она все рассказала...

— Что же именно?

— Да все! Как он ехал по тайге, как увидел бандитов. Они хотели его задержать, но он якобы испугался и уехал. И теперь он, видите ли, не спит, психует, боится преследования. В общем, чепуха какая-то.

Я тут же подумал: ага! Об убийстве Алексей не сказал своей матери ни слова. Скрыл от нее эту деталь. Почему?

Хотя понятно. Значит, он и вправду задавил кого-то. Иначе, если бы он фантазировал, бредил, зачем бы ему было скрывать.

Поговорив в кем-то по телефону, Хижняк вновь обратился ко мне. Но говорил он теперь быстро, заметно нервничая, искоса поглядывая на часы.

— По просьбе его матери мы даже посылали в Очуры сотрудников. Трое суток они там торчали, охраняли дом, проверяли обстановку... Ну и, конечно, все оказалось блефом! Вот так. И хватит об этом.

И он поднялся, складывая бумаги и давая мне тем самым понять, что аудиенция окончена.

ПО СЛЕДУ

Выйдя из милиции, я направился к районной чайной, где меня по уговору должен был ждать баянист.

Он уже был там. И успел распорядиться насчет закуски и графинчика. Сидел он, развалясь на стуле и о чем-то толкуя с неизвестным мне высоким, худым парнем. Внешность у парня была запоминающаяся. В густой его черной шевелюре белела узкая, словно нарисованная седая прядка. А рот был набит металлическими зубами.

Увидев меня, Петр привстал, махнул призывно рукою. Парень же мгновенно исчез.

— Кто это был? — поинтересовался я рассеянно.

— Один знакомый, — пробормотал Петр.

И он внимательно глянул на меня:

— Что у тебя за секреты с лягавыми?

— Да так, пустяки, — ответил я,— надо было оформить прописку.

Потом я грелся водочкой и размышлял. Несмотря на всю убедительность доводов, приведенных инспектором, я был преисполнен сомнений. Интуиция подсказывала мне, что дело Алексея Болотова гораздо серьезнее и сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Я по-прежнему ощущал, улавливал терпкий запашок неразгаданной тайны.

— Хижняк считает Алексея симулянтом, — думал я,— считает, что он просто ищет легкую жизнь. Но ведь есть же врачи, давшие парню инвалидность! Надобно с ними потолковать. Да и вообще не такая уж легкая, если приглядеться, жизнь у Алексея. — Я вспомнил странные его глаза, вспомнил фразу: "Ножичек у меня, как бритва, во-о-острый!", — сказанную тихим, вздрагивающим, рвущимся голосом...

И обращаясь к баянисту, спросил:

— Не знаешь, тут есть какая-нибудь больница? Или клиника?

— Есть, — сказал он, с хрустом что-то жуя, — все есть.

— А как туда пройти?

— Топай к реке, — пояснил он, — там находится Первомайская улица. Вот на ней.

— Ладно. — Я поднялся, застегнул свою меховую тужурку. — Сделаем так. Сейчас я уйду по делам, а ты жди. Встретимся через час-полтора. На этом же самом месте.

* * *

Лечащего врача Алексея я разыскал без хлопот: редакционное удостоверение помогало мне всюду, открывало любые двери. И вот какой состоялся у нас разговор:

— Когда Алексей Болотов появился у вас впервые?

— Восемь месяцев назад. А точнее, 27 апреля 1954 года.

— Он один приходил?

— Нет, с матерью. И, по ее словам, заболел он еще раньше.

— И что же вы установили? Он действительно болен?

—О, да!

— Это опасно?

— Да как вам сказать... — Врач поправил очки. — У него проглядываются симптомы депрессивно-маниакального психоза. Болезнь в начальной стадии. Со временем она может пройти. Но может и укорениться, остаться, и тогда в его психике произойдут уже необратимые изменения. Трудно что-либо утверждать заранее. К сожалению, эта область шизофрении еще мало изучена, хотя и является самой распространенной.

— Как же с ней все-таки борются? Существуют хоть какие-нибудь лекарства?

— Конечно. И немало. Я прописал ему кое-что. Но, на мой взгляд, самое существенное тут не лекарства, а обстановка, условия, среда.

— Но почему же вы не положите его в больницу?

— А что это даст? — пожал он плечами. — Вы представляете себе атмосферу больницы? Вот то-то. Больничная среда зачастую оказывает обратное, пагубное воздействие.

Сняв очки, врач подышал на них, протер полой халата и, рассеянно вертя их в пальцах, заметил:

— Больница не уйдет. Не о ней надо сейчас думать. Вы говорите, что знаете его хорошо?

— В общем, да, — сказал я.

— Какова его личная жизнь?

— Да неважная. Он все время один. Страдает бессонницей, живет во власти страхов.

— Вот это скверно, что один. Очень скверно! Одному нельзя. Надо, чтоб были вокруг люди, друзья. Ведь у него же есть друзья. Я знаю.

— Какие друзья? — удивился я.

— Я точно помню, — сказал врач, — тогда же, в апреле, ко мне приходил кто-то из профкома, и с ним были еще двое, близкие друзья Алексея. Так они, во всяком случае, назвались. И эти люди, вот как вы сейчас, интересовались состоянием Алексея, его болезнью.

— Значит, вы говорили со всеми. Но разве это можно?

— Голубчик, — сказал он мягко. — Здесь деревня. А в деревне тайн нет. Никаких. Ни от кого. И коли так, то я предпочитаю, чтобы люди знали точно, как действительно можно помочь заболевшему. Тем более, если речь идет о его близких друзьях.

* * *

Нет, я не ошибся. Дело Алексея действительно оказалось серьезным. На кирпичном заводе (я это выяснил сразу же) судьбой Алексея никто не интересовался и к врачу не ходил;

там получили заключение медкомиссии и успокоились. Так что "друзья" его были другого сорта. И эта деталь говорила о многом.

За Алексеем следили — его проверяли. Кому и зачем нужна была эта проверка, я не знал. Но чувствовал: надо спешить.

И прежде всего следовало разобраться в обстоятельствах, связанных с таежным происшествием.

Происшествие это являлось как бы отправной, исходной точкой. И все было бы просто и легко, если бы убитый нашелся. Но в том-то и дело, что труп обнаружен не был и не попал ни в один милицейский протокол. Его никто не видел. А раз так, то и вообще неизвестно, был ли он на самом-то деле

Конечно же, в тайге спрятать труп не трудно. Можно его, например, зарыть. Но зачем бы стали тайно зарывать его лесные эти люди, даже если они действительно были бандитами? Товарищ их погиб не "на работе", а просто по нелепой случайности. И в данном случае им нечего было бы скрывать. Наоборот, его постарались бы похоронить легально, по всем правилам.

Я растерялся, запутался, почувствовал себя, как собака, сбившаяся со следа. Сбившаяся, но все же еще не утратившая нюх. И упорно кружащаяся, вьющаяся в кольце начатого поиска.

И вдруг меня осенило. Идиот! Я все время думаю об убийстве, ищу труп. Но почему именно труп? С какой стати? Ведь Алексей тогда зажмурился и сразу же скрылся, и, стало быть, он не знает подробностей. А что, если сшибленный им человек остался жив? И, раненный, попал в больницу? Потому-то его и нет в протоколах. Такой вариант вполне реален. И вот это-то и надобно теперь разузнать.

* * *

Так начались мои хождения по окрестным больницам. В Алтайске я не разузнал ничего, но это меня не обескуражило. Район сам по себе огромный, и в нем, в разных концах, имелось, как я выяснил, четыре крупных больницы. И потре-

бовалось время, прошла зима, пока я побывал во всех (слава Богу, в моем распоряжении имелась машина). И вот, в последней по счету, расположенной на границе с соседним районом, я вроде бы напал на след.

В регистрационном журнале этой отдаленной больницы мне попалась любопытная запись:

"В ночь на 15 апреля 1954 года доставлен больной в шоковом состоянии, с тяжелой травмой обеих ног. Документов при нем не было. Но он сам, придя в сознание, сообщил, что имя его Грачев Василий Сергеевич".

И ниже значилась подпись: "Дежурный врач, О. Никодимова".

Тут многое настораживало: сама эта дата и характер травмы...

Я увиделся с Никодимовой. Она оказалась грузной, уже немолодой, с тугим узлом серебряных волос и большими, не по-женски крепкими руками. (В этом я убедился, когда мы обменялись рукопожатием). Затем она сказала:

— Грачева я помню. Еще бы! Мне ведь почти сразу пришлось его оперировать. Очень трудный был случай. Сами понимаете — ампутация...

— Вы ампутировали ему обе ноги?

— Нет, одну. Другую, правую, уложили в лубки. А с левой ногой уже ничего нельзя было сделать. Представляете: переломы в пяти местах! Голень словно в мясорубке побывала. И, кроме того, повреждено бедро.

— Как он объяснил потом все случившееся?

— Сказал, что шел по тайге пьяный, споткнулся, упал и угодил под какую-то встречную машину. Что ж, — она вздохнула коротко, — с вашим братом это бывает. Зальете водкой глаза и шляетесь, где не надо, гибнете попусту.

— Да, конечно, — согласился я, — дело известное. А скажите-ка: вы не заметили в его поведении ничего такого... — Я пошевелил пальцами, — ну, странного, что ли?

— Вроде бы нет. Хотя... — Она опустила брови — задумалась на мгновение. — Кое-что было, верно, я вот сейчас припоминаю. Знаете, мне кажется, он все время чего-то боялся.

— Как же эта боязнь проявлялась? В чем?

— Н-ну, в мелочах. По-разному. Мы положили его внизу, у окошка, — он попросил перенести его на второй этаж. И когда дверь в палату открывалась, он все время вздрагивал. Вообще, не любил посетителей. И в приемные часы, когда к больным приходят родственники, лежал не двигаясь, укрывшись с головой.

— Так, — сказал я, — понятно.

Мне и в самом деле понятно стало многое. Я твердо знал сейчас, что иду по верному следу. И я спросил с трудно сдерживаемым волнением:

— А теперь как мне его повидать?

— Я сожалею, — сказала она медленно. — Но повидать не удастся.

— Почему? Где же он?

— На кладбище. Там, где мы все будем.

— Сколько же он у вас пролежал?

— Месяца полтора всего. А потом... — Она вздохнула. — Уж как я старалась, как старалась. Мы тут все за ним, как за малым дитем, ходили.

— Отчего же он умер?

— От паралича сердца. Он вообще был очень слаб, от шока так и не оправился, жил на вливаниях. Ну и вот.

Мы еще поговорили с ней недолго, и я простился, и зашагал к дверям. И уже на пороге остановился вдруг, и потом:

— Да, простите, — сказал, — последний вопрос. А кто Грачева привез сюда, вы не помните?

— Какой-то шофер, — ответила она, поджимая губы, — я его не знаю. И он о себе ничего не говорил. Сказал только, что ехал с кирпичного завода и случайно заметил на дороге лежащего. Ну и пожалел, подобрал.

— С кирпичного? — переспросил я, — это точно? Он так и сказал? Вы не путаете?

— О Господи, — усмехнулась она, — что, корреспонденты все такие назойливые? Я никогда ничего не путаю, молодой человек. Никогда. Ничего.

* * *

И вот я снова в кабинете у Хижняка.

— Вам знакомо такое имя: Грачев Василий Сергеевич?

— Васька Грач! Ну как же, как же. Помните, мы говорили об очурской банде? Так вот, он был там. И ушел с ней.

— Ни с кем он не ушел, — сказал я. — Он ушел один. И знаете, куда? Сыграл на два метра под землю.

— Откуда у вас эти сведения?

— Я недавно был в той больнице, где он лежал раненный и где потом умер.

— Это что за больница? Где находится?

Я объяснил. Он выслушал меня внимательно. И затем спросил:

— А как вы, собственно, там оказались? В связи с чем?

— Да случайно. Ехал по делам и завернул ненадолго. Мне ведь все интересно, я же газетчик.

И перегнувшись через стол, я добавил медленно:

— И могу также объяснить вам, от чего умер Васька Грач. Он умер от страха.

— Ну, это уже ваши домыслы.

— Ничего подобного. Хирург той больницы, Ольга Никодимова, так и сказала: "Он, то есть Грач, все время чего-то боялся"… Мне думается, он боялся своих!

— Ага, ага, — забормотал Хижняк. — Да, да, да… — Он сидел теперь, сгорбившись, стукая ногтями о край стола, думал о своем. — Да, пожалуй. Я и раньше еще замечал, догадывался, что у них там что-то происходит, кипит что-то.

И он досадливым жестом ударил по столу кулаком.

— Эх, черт, жалко, я не повидал Грача! Не знал. Не успел. Да ведь с другой стороны, где ж тут все успеть? Наш район по территории равен Швейцарии, а у меня в оперативном отделе всего пять человек.

— Как же вы управляетесь со здешними бандитами?

— Ну, в самых крайних случаях нам помогают, поддерживают. Вот в последней операции, например, участвовали люди из соседнего района.

— Когда эта операция, кстати, происходила?

— Как это ни смешно, первого апреля пятьдесят четвертого года, — сказал Хижняк, — первого апреля! Но дело было нешуточное. Мы потеряли одного, а бандиты двоих. И кроме того, еще двоих раненых нам удалось задержать. Но, к сожалению, часть банды все-таки скрылась. И с ней ушел сам главарь — Каин.

— Каин? — засмеялся я, — ничего себе имечко. Своеобразное!

— Да и тип этот тоже своеобразный. Наркоман, садист, прирожденный убийца, а? каков букет?

— Вы этот "букет" видели? Держали в руках?

— Я лично — нет. Но досье на него заведено богатое. У него есть и другое прозвище, "Черная кошка", которое он уже сам придумал для устрашения. Чтоб пугать народ.

— У вас, я вижу, дело крепко поставлено, — похвалил я его, — агентура имеется неплохая.

— Стараемся, — проговорил он, поигрывая бровью, — стараемся...

— Сколько же человек на вас работает?

— А какое это имеет значение? — усмехнулся Хижняк. — Я говорю абстрактно, обобщенно. Так вот, если обобщать, то в этой среде при желании всегда можно найти пособников. Там же все время идет междоусобная борьба. Свирепая борьба! За авторитет, за власть, за территорию. Одну группу вытесняет другая. Один авторитет соперничает с другим. И порою случается так, что кое-кто из жиганов начинает устранять соперников с нашей помощью, понимаете? Выдает их и таким образом расчищает себе дорогу.

— Кто же это, к примеру?

— А вот таких вопросов задавать не полагается, — жестко, холодно сказал Хижняк. — Усвойте себе это правило! — И он поднял палец и покивал им строго. — Хорошенько усвойте! Я вам как журналисту объяснил общую ситуацию. И все. И достаточно. И не требуйте большего.

— Прошу прощения, — сейчас же сказал я. — Вопрос был действительно неуместный, я сам сознаю. Но я почему? Про-

сто любопытно, что за нравы у здешних блатных, что это вообще за публика.

— А здесь, к вашему сведению, вовсе и нет настоящих блатных, — небрежно бросил Хижняк. — Таких блатных, которые, скажем, обитают в Одессе, в этом русском Марселе. Отнюдь!

Он раскинулся в кресле, закурил и ловко вытолкнул губами колечко дыма. Вид у него был усталый и снисходительный, ему, очевидно, нравилось меня поучать.

— Я когда-то работал в Одесском розыске. Там были артисты, виртуозы! А тут что? Простые лесные налетчики, таежный примитив. Единственное, что они тут умеют, убивать...

— Однако же, этот ваш "абстрактный" тип, — сказал я, — судя по всему, личность далеко не примитивная. Наоборот, редкостный ловкач. Эдакий уголовный Азеф!* Вы не находите?

— Пожалуй, — кивнул Хижняк. — Что-то общее есть. Но если Азефу удалось перехитрить всех, уйти и от подпольщиков, и от властей, то этот от нас, конечно, не уйдет. Со временем мы его обезвредим. Но только не теперь. Пока что он полезен именно тем, что он там. В самых недрах. Понимаете? Ну, и хватит об этом!

* * *

Когда я вернулся домой, был час снегопада. Село словно бы окутывал сырой серый дым. Мохнатые, липкие снежные хлопья отягчены были влагой, и ветер уже крепко пахнул весной.

На хозяйской половине топилась печь, гудела и попыхивала вкусным дымком. Я разулся, пристроил возле печки отсыревшие валенки. Затем повернулся к Алексею.

*Евно Азеф — легендарная и весьма загадочная фигура. В предреволюционные годы в России он был одним из вождей подпольной партии эсеров (социалистов-революционеров), возглавлял там "боевую", террористическую группу и в то же время являлся агентом царской тайной полиции. Азеф долго и широко вел свою двойную игру. Затем, разоблаченный, бежал и исчез бесследно... Это был, без сомнения, самый крупный провокатор изо всех, каких знала история русского революционного движения. А она знала многих.

Он, как обычно, стоял у окна. В избе, кроме нас, никого не было, Макаровна ушла куда-то. Момент был самый подходящий. И я сказал:

— Эй, Алексей, тебе привет.

— От кого?

— От Васьки Грача.

— Что-о? — он заметно вздрогнул, — от Грача? — И тут же проговорил, бледнея. — Не знаю такого…

Эта моя реплика должна была ошеломить его, сбить с толку, и так и случилось.

Я переспросил, прищурясь:

— Не знаешь? Странно.

— А что такое? В чем дело? — зачастил, заторопился он, — какой еще привет? Ведь он же умер.

— Вот ты и попался, — сказал я тотчас же, — Грач, действительно умер. Как же ты об этом узнал?

У меня всегда была неплохая реакция, она не раз меня выручала. И выручила теперь. Алексей качнулся ко мне, неуловимо быстро взмахнул рукою. И тотчас же я присел, увидев сверкнувшее в воздухе жало ножа.

Нож, крутясь, пролетел надо мной, свистнул коротко. И впился дрожа в бревенчатую стену. Он низко пролетел, почти царапнул мне череп. Я ощутил дыхание опасности (Не нагнись я, он, пожалуй, вошел бы мне прямо в горло!). И волосы мои зашевелились и вздыбились.

И выхватив из кармана свой собственный складной охотничий нож, с которым я не расставался никогда, я проговорил возмущенно:

— Ты что, говнюк, сдурел? Стой смирно, не двигайся! Это куда же годится, черт возьми!?

Я говорил и поигрывал раскрытым ножиком; подбрасывал его и ловил за рукоятку… А Алексей по-прежнему стоял, чуть пригнувшись, и напряженно следил за мной.

— Я привез хорошие вести, хотел тебя, дурака, обрадовать, а ты вон как меня принимаешь.

— Какие вести? — спросил он, — о чем?

— Говорю тебе, хорошие!

Тогда он медленно, несмело распрямился. И подошел ко мне, просительно протягивая руки:

— Что? Что ты узнал?

— Узнал много чего, — ответил я. — Но сначала давай условимся. Во-первых, без истерики, без подлостей! А то ведь я тоже не с пустыми руками...

— Ладно, ты извини.

— И во-вторых, — я сложил ножик и спрятал его в карман, — я хочу, чтобы ты мне объяснил кое-что. Вот скажи-ка, зачем ты врал, когда рассказывал о том ночном происшествии, а? Ты говорил, что встретил каких-то незнакомых людей. Но ты же знал их всех! И Грача — тоже. Ведь правда?

Алексей кивнул. Брови его заломились, ко лбу прилипла мокрая прядь. Глаза, как у больной птицы, были затянуты мутною пленкой.

— Я не то чтобы врал, — запинаясь, сказал он, — я просто не мог иначе. Не мог вспоминать подробности, да и кроме того, я же не знал тебя.

— Но теперь ты знаешь. И постарайся вспомнить все, до конца.

"ЧЕРНАЯ КОШКА"

Новый рассказ Алексея разительно отличался от первого. Почти все здесь было наоборот.

Покойного Грача он, оказывается, знал давно, с детства, они были старыми друзьями. И Васька-то, собственно, и вовлек его в банду Каина.

"Черная кошка" наводила страх на всю округу. Банда совершала ночные налеты на склады и магазины, грабила конторы. И не щадила никого из тех людей, которые встречались ей на пути.

И Алексей, связавшись с жиганами* время от времени, оказывал им услуги как шофер грузовика. Заработок это

*Жиган — словцо из сибирского жаргона. Означает то же, что и общерусское "налетчик", то есть, грабитель, бандит.

давало неплохой (и, насколько я смог понять из ухмылочек и намеков, у него и по сей день сохранились где-то припрятанные деньжонки!) Так продолжалось два года. А потом стряслась беда: Каин заподозрил друзей в предательстве.

Вернее, заподозрил Грача. А так как Алексей был с ним тесно связан, пятно легло также и на него.

В преступном мире, кстати сказать, такой порядок вещей существует издавна; отвлеченной дружбы там не признают, в идиллические контакты не верят. Друг — это прежде всего партнер, единомышленник. И потому уголовник по правилам отвечает не только за свое личное поведение, но также и за поведение любого своего друга. И нередко отвечает головой...

Что же, собственно, случилось? С чего все началось?

У Васьки-Грача, как рассказал мне Алексей, была подруга, некая Клава, рыжеволосая и пышная, с которой тот часто встречался. Работала Клава в Очурском сельсовете, и Васька порою заглядывал туда. Вот, такова прелюдия. Ну, а дальше начинается история загадочная и мрачная. Однажды готовился налет на контору по закупке пушнины. Она находилась в селе Осиновка, в шестидесяти километрах от Очур. Так как налетчики рассчитывали не только на деньги, но еще и на меха, был приглашен Алексей со своим грузовиком. Ровно в три часа ночи, в назначенный срок, он прибыл в Осиновку и, к своему изумлению, застал там суматоху, шум, пальбу. Банду, оказывается, ждали, она попала в ловушку. Кто-то выдал, и в завязавшейся перестрелке они потеряли четверых. Остальных (в том числе и Каина) Алексей успел подобрать и канул во тьму. А спустя две недели, собравшись в тайге, в тайном месте, жиганы занялись расследованием причин провала. И вот тогда кто-то вспомнил вдруг, что за день до злополучного этого налета он видел Грача выходящим из дверей сельсовета. Что он там делал? И другой жиган подтвердил, что Васька, это точно, часто терся у тех дверей.

И тотчас же вспомнился, всплыл давний, позабытый уже случай: была вечеринка в доме у знакомого "барыги".* Помимо Грача, там было еще двое. Упившись, они там же и оста-

*Барыга — перекупщик краденного.

лись ночевать. Но потом, среди ночи, Грач оделся торопливо и вышел. Он так и не вернулся на малину. А утром туда ворвалась милиция.

Васька уцелел в тот раз, и жиганы приписали это удаче, сочли за счастливую случайность. Но теперь все поворачивалось по-иному. Что-то уж многовато накапливалось случайностей, допрос вел сам Каин, и был он недоверчив и неумолим.

— Ты нам мозги не пудри, — заявил он Грачу, — что ты все время твердишь про любовь, про бабу? Это все зола. (Была у Каина такая поговорочка). Ты лучше скажи, как ты нас продаешь? Кому? И за сколько?

И как не оправдывался Грач, как не твердил он, плача, что душа у него честная, воровская, все равно ему не поверили. Не захотели поверить.

Сборище было шумным, хмельным. Ребята пили самогонку, и чем сильнее хмелели, тем становились безумнее. Разъяренные, растерянные, они искали предателя: им нужен был виновный. Под эту категорию легче всего, конечно, подходил Васька-Грач. Но и Алексея тоже коснулась тень подозрения. Каин сказал с обычной своей кривой ухмылочкой:

— Вы же ведь кореша. Кто вас знает, чем вы оба дышите.

Ситуация была напряженная. И Алексей не выдержал. Подтвердил, что друг его действительно бывал в сельсовете и не раз. Там у Грача есть девушка. (Но все же в детали он не посвящен и потому ручаться ни за что не может).

В принципе он не солгал, сказал в какой-то мере правду. Но правда эта была куда гнуснее лжи:

— Ну, раз так, — ответил Каин, — раз ты сам ему не доверяешь, то сам же и казни. Дави его, суку, колесами. Это даже удобно: все решат, что тут не убийство, а случайная катастрофа. — И прибавил с угрозой: — И если ты наш, не порченый, рука у тебя не дрогнет.

И состоялась казнь. Грача, связав, положили на лесной тропе, распяли на камнях. И Алексей уселся в машину, дал газ. И рука его в эту минуту не дрогнула. Да если б она даже и дрогнула, чтобы он мог поделать? Он понимал, что если откажется, он сам ляжет тут же рядом с Грачом.

И все же он попробовал схитрить: вильнул и стал наезжать лежащему на ноги.

Нет, он не зажмурился тогда. Он наезжал и видел в блеклом свете фар распростертое, распластанное тело и запрокинутое, белое, как мел, лицо Грача и разинутый в крике, перекошенный его рот.

А затем машину тряхнуло, и он ощутил, услышал хруст, мокрый, медленный хруст ломающихся костей.

Ну, а "зажмурился" он уже после. Дрогнули не руки его, а душа. Чтобы как-то жить дальше, нужно было забыть увиденное. И Алексей забыл, отгородился от действительности.

В общем-то, он жидкий был парень, с гнильцой. Но все же заниматься им стоило.

В жизни нашей существуют два уровня. Уровень света и уровень сумерек. Граница меж ними зыбка, неотчетлива, и переступить ее не так-то уж трудно. Но все же надо решиться на это; надо суметь сделать первый шаг. Алексей — не сумел. И сломился. Сломился как раз на самой черте. Но как бы то ни было, остался по эту сторону.

СПАСТИ ОТ САМОГО СЕБЯ

Теперь мне все было в принципе ясно. За исключением одной только детали.

"Откуда, — недоумевал я, — откуда же взялись его ночные страхи? Весьма предметные страхи, постоянное ожидание мести, боязнь преследования... О какой мести может сейчас идти речь? Ведь он же выполнял все, что требовалось. И таким образом, как бы оправдался в глазах ребят."

Вопрос этот заинтересовал меня чрезвычайно. И я спросил Алексея напрямик. И он ответил, растерянно разведя руками.

— Так ведь я же потом вернулся к Грачу! И подобрал его украдкой. Вернее, — он запнулся, — то, что от него осталось. И в ту же ночь отвез в больницу.

— И говорил там с хирургом, Ольгой Никодимовой.

— Ты и это уже выяснил?

— Натурально. И я вот чего не пойму: зачем ты упомянул

тогда о кирпичном заводе? Зачем раскрыл себя? Это было неосторожно. Ведь если бы по твоему следу шел не я, а кто-нибудь другой, представляешь, что было бы?

— Представляю, — проворчал он угрюмо, — я и сам не могу понять: как это я сболтнул. Наверно, в панике, впопыхах. Потом-то я спохватился, сообразил, но ведь сказанного не воротишь. Вот после того я и спать перестал. Ты сам посуди: если бы в кодле узнали, что я пытался Ваську спасти, там сразу бы решили, что мы с ним заодно, что я от него не вовсе отрекся. И тогда они пришли бы казнить меня самого.

"Других казнить ты, значит, можешь, — подумал я, — а себя самого вон как бережешь!"

Я подумал так, но промолчал, очень уж он был, все-таки, жалок...

И потом спросил, глуша раздражение:

— Но если ты такой пугливый, как же ты, черт возьми, смог к нему вернуться? Как ты решился?

— Что-то толкнуло. — Он развел руками. — Что-то заставило... Я вообще плохо тогда соображал, все было, как во сне.

И вот эта фраза примирила меня с ним.

— Хорошо. Ну, а откуда ты все-таки узнал о его смерти? Кто тебе сообщил?

— Да это мать, — сказал он, — это она звонила. Она же ведь мой посыльный. Вот еще кто мается не меньше моего. И ничего не знает толком, не поймет, мечется в панике. Жалко старуху.

— Ну, так вот, — сказал я, — ни ей, ни тебе беспокоиться больше не о чем! За тобой действительно следили. Но теперь в кодле знают о твоей болезни. До Ольги Никодимовой они, слава Богу, не добрались, но в Алтайской клинике, у твоего психиатра, были. Это точно.

— Да ну? — дернулся он. — И что?

— Как видишь, ничего. Проверили все и поняли, что ты не опасен. Это самое главное.

— Значит, что же, — прошептал он, — значит, я теперь...

— Да, можешь спать спокойно. И во-вторых, все вообще изменилось, учти это. Самого Каина больше нет здесь, он испарился, ушел. В какой-то другой район.

— В какой?

— Вот этого я пока еще не знаю.

— А каким это образом ты все узнаешь, до всего докапываешься? Кто ты, начистоту?

— Такой же, как и ты, — сказал я, улыбнувшись, — бывший блатной. И я ненавижу таких, как Каин. И вот, помогаю тебе, чем могу.

По мере того, как я говорил, Алексей преображался, облик его становился иным, и я удивился случившейся перемене. Плечи его распрямились, муть отошла от глаз. И заглянув в них, я впервые увидел истинный их цвет. Глаза его были светло-карие, с золотистым отливом. Их уж не ослепляла тоска, в них светилась надежда.

"А ведь он по-своему интересный парень, — подумал я, — и раньше, наверное, нравился девушкам."

И тут же по краю моего сознания прошла еще одна, новая мысль.

— Послушай, — сказал я, — а с той красоткой, которая погубила Грача, ты лично знаком?

— Видел несколько раз. А что? Она и вправду красотка. Первая в Очурах! Отсюда до Северного полюса другой такой не найдешь, не сыщешь.

— И как ты считаешь, она действительно была виновата? Ведь кто-то же выдал вас. Может, она?

— Вряд ли, — поморщился Алексей. — Даже, если Грач и сказал ей что-нибудь, трепанулся, все равно. Клавка — баба своя!

— Как, то есть, своя?

— Ну, у нее есть брат, и он тоже налетчик. Только он в другой кодле. Тут, в тайге, пасся не один только Каин...

— И какая у этого брата кличка?

— Ландыш. Нежная кличка! Это у него фамилия такая: Ландышев.

— А вообще Клавкина семья, — спросил я, — она здешняя, коренная?

— Приезжая. Грач мне говорил, откуда они, только я позабыл.

— В сельсовете, стало быть, могут и не знать ничего о Клавке, — пробормотал я, — ну, а Каин? Он-то знал?

— А какая, в конце концов, разница? Дело же вовсе не в Клавке. О ней почти и не было разговора. Каин ведь как повернул? Раз ходил в сельсовет, значит, мог столковаться с властями. Значит, ссученный. А все эти слова о любви для Каина "зола".

— Он что же, баб не признает, не интересуется ими?

— Он только собой интересуется! А бабами, конечно, пользуется, почему бы и нет. Но вообще-то ему на все плевать. Или, как он сам говорит, "блевать"!

— Так кто же все-таки выдал вас? — спросил я погодя, — может, и правда, Грач?

— Нет, не похоже, — сказал Алексей, — ведь и в тот раз, когда он ночью ушел с малины, он тоже был у нее...

— Н-да, — процедил я, — новая загадка.

— Эх, если бы узнать кто! — Хрипло, тяжело вздохнул Алексей. — Если б точно установить. Я бы с ним тогда расквитался. За все: и за Грача, и за себя!..

Он еще хотел что-то сказать, но в этот момент воротилась Макаровна, и разговор наш пресекся, его уже нельзя было при ней продолжать.

Среди ночи я проснулся внезапно — меня разбудило чье-то прикосновение. "Алексей, — раздраженно подумал я, — какие-нибудь новые фокусы!"

Но нет, это оказалась Макаровна. Она стояла, закутанная в платок, морщины ее тряслись, по ним ползли слезы.

— Что еще случилось? — зажигая лампу, спросил я, — опять беда?

— Наоборот, радость, — прошелестела она, — ты знаешь, Алеша-то спит! Впервые за все время уснул спокойно. Лежит себе, ровно дышит, губами шлепает, как маленький... А ведь это ты его вылечил!

— Ну, чего там, мамаша, — отмахнулся я, — это все пустяки. Главное, что он успокоился. Я тоже рад. И очень.

— Ты, ты, — продолжала она, — это ты помог. Вот ведь как я удачно сделала, что приняла тебя!

— А кстати, почему ты сразу, с самого начала, не предупредила меня обо всем?

— Ох, что ты? — она махнула на меня сухонькой лапкой. — Нельзя было. Ведь если бы ты узнал, — ты бы не стал здесь жить. А мне как раз нужен был человек в доме. Так мне врач посоветовал. Я схитрила маленько, и видишь, как все хорошо получилось. И спасибо тебе, милый. И дай Бог всякого счастья.

И она, кряхтя, поклонилась древним, низким, земным поклоном.

Потом подняла ко мне морщинистое темное личико:

— Теперь живи здесь, сколько хочешь, и о деньгах не заботься, я с тебя ни единой копейки не возьму. Эта половина избы вечно твоя!

Она ушла, что-то еще бормоча, а я погасил свет и устало вытянулся в постели.

Вот я и утвердился в звании сыщика. И даже уже награду получил за труды. Что ж, я и в самом деле потрудился. И помог человеку, спас его. Причем спас его от самого себя. А эта проблема, поистине, не из легких!

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Но не думайте, будто я в течение этой зимы занимался одним только Алексеем.

Я много писал и регулярно посылал стихи и очерки в свою газету, а также и в другие редакции. Настроенный романтически, я писал о природе края, о жизни таежных охотников, лесорубов и рыбаков. Иногда мои опусы появлялись в печати, и всякий раз это меня радовало несказанно.

Мне ведь все было внове тогда, и еще не успела приесться газетная рутина, и приятно было сознавать себя журналистом.

Начав сразу в двух жанрах, я с азартом, с неизменным усердием работал над очерковой прозой и над стихами.

Но все же поэзия занимала меня больше, влекла сильней; со временем стихов накопилось немало. Я соединил их со старыми рукописями. И в результате образовалась весьма пухлая папка. Объемистая папка, в которой как бы угадывались уже, намечались очертания будущей книги.

Однако до этого еще было далеко. И пока что мне с избытком хватало сложностей и хлопот, и разных неожиданностей. В редакциях мои сочинения нередко отвергались, выбрасывались в корзину, и я тогда горевал. Как это обычно бывает с новичками, я каждую мелкую неудачу воспринимал, как катастрофу. И я страдал, и пил горькую, и проклинал бюрократов-редакторов.

Да, хлопот и неожиданностей хватало. Впрочем, это естественно. В городе Одессе, в том самом "русском Марселе", о котором говорил Хижняк, бытует старинная поговорка: "жизнь — это смесь дерьма с конфитюром". Аппетитное блюдо, не правда ли?

Однажды я сидел в клубе, в своем кабинете. Кто-то постучал в дверь. И затем на пороге появился незнакомый мне парень. Он снял шапку, глянул на меня исподлобья. И осведомился, точно ли я тот человек, который пишет в газету и подписывается именем Демин.

Я ответил, что да, это факт бесспорный. И в свою очередь, поинтересовался, что ему надо.

Парень замялся. Он явно был чем-то смущен. Теребя в пальцах шапку, он сказал несмело:

— Я к вам за советом, за помощью.

"Ого! — подумал я, — кажется, я начинаю делать карьеру в качестве всеобщего утешителя. Не переборщить бы. Не поскользнуться бы." И проговорил с кислой улыбочкой:

— Я вас слушаю.

— Видите ли, — сказал, усаживаясь, парень, — я подвиг совершил. Пострадал за идею. А никто не ценит, наоборот. Все смеются. — Он всхлипнул вдруг, лицо его перекосилось. — Прямо житья никакого нет.

— Так в чем же все-таки суть? — нетерпеливо сказал я. — Пока я ничего не вижу. Выкладывайте.

Свесив руки промеж колен, он сделал там какой-то сложный, замысловатый жест.

— Все потеряно.

— Что именно? — спросил я, с любопытством следя за его пассами, — где?

— Ну, здесь, здесь, — сказал парень, — неужто не понимаете? Я же ведь оскоплен...

— Ах так, — пробормотал я, — да, это действительно... проблема.

И я замолчал в растерянности, не зная толком, что же еще сказать. В самом деле, вот вам задачка для школьного возраста: приходит человек с таким заявлением и просит вашей помощи. Как тут быть? И чем тут, собственно, можно помочь?

— Как же это вы ухитрились, — сказал я, помедлив, — а? Все же такое дело. Подумать страшно!

— Вот-вот. А я рискнул. Это же героизм, верно?

— Бесспорно. И еще какой! Но скажите, кому и зачем он понадобился?

— Да, видите ли, здесь, в Очурах, есть религиозная секта "скопцы", — начал парень, — довольно крупная секта. И наша комсомольская организация решила повести с ней серьезную борьбу. И тут сразу же встал вопрос: как проникнуть в эту секту? Как ее разоблачить?

Секта была тайная, старинная, со строгими правилами. Сборища скопцов устраивались в лесу, в большой, глубоко вырытой землянке, лишенной окон и с одним только входом.

Посторонние туда не допускались, а подглядеть и подслушать что-либо не представлялось возможным. Проще всего, конечно, было бы ворваться туда силой, придти с милицией. Но когда комсомольцы обратились в районное отделение, к Хижняку, тот посоветовал другой вариант.

— Чтобы разоблачить сектантов, — сказал он, — необходимо поймать их с поличным. Захватить в тот самый момент, когда они творят свой ритуал. И без агента здесь не обойтись.

Нужно, чтобы кто-нибудь вошел в эту секту, притворился ихним.

Вот такой совет дал старший лейтенант милиции, крупный специалист по работе с тайной агентурой. Комсомольцы воодушевились. Стали искать желающих. Секретарь сельской организации провел ряд бесед, посвященных подвигам различных агентов. Рассказал о знаменитом Зорге, о легендарном Кузнецове. Зачем-то приплел сюда и английского полковника Лоуренса. И вот этот полковник сильнее всего взволновал нашего волонтера. (Пора его вам представить: фамилия его Владимиров, имя Максим). Завороженный лоуренсовской романтикой, Максим дал согласие и начал свою игру.

Он познакомился с группой сектантов, долго и упорно втирался к ней в доверие. Заявил, что хочет вступить в секту. И когда его спросили, почему, с какой стати, он, молодой парень, хочет лишиться столь мощного мужского украшения, Максим ответил, как и положено, что он устал от дьявольских женских соблазнов и не хочет больше жить в мире греха.

Это весьма точно совпадало с сектантской идеологией, (которая во многом опирается на старинные, запрещенные церковью "раскольничьи" книги и на так называемые "Соловецкие тетради"). В одной запретной тетради, например, сказано: "Что есть жена? Сеть прельщения человека. Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, соблазн адский, увет дьявола..."

Браня напропалую женщин, Максим, сам того не ведая, приблизился к каноническим текстам. И скопцы, поразмыслив, решили парня принять. В эту секту, кстати сказать, попасть не так-то просто, туда принимают только избранных.

А затем, некоторое время спустя, новоявленный Лоуренс предстал перед старейшинами секты. Его должны были посвятить в "непорочные", удостоить "высшей благодати", (а попросту говоря, стерилизовать). Торжество было назначено на субботний вечер. И в этот час все комсомольцы села, а также оперативники Хижняка окружили землянку и залегли в окрестных кустах.

Они залегли, ожидая сигнала. Было так условлено: когда

начнется "посвящение" и к Максиму подойдут с инструментами, он тотчас же крикнет, позовет на помощь.

— А какие у них, вообще-то, инструменты? — поинтересовался я. — Чем они яйца-то стригут? Ножницами, что ли?

— Так в том-то и дело, что я не знаю, — грустно ответил Максим. — Не успел ничего разглядеть. Я же думал, что они будут спереди подходить, а они — сзади... Украдкой. Чик — и готово!

— Но как же это все-таки выглядело? — спросил я, чувствуя в горле какой-то странный, мучительный, нарастающий клекот и изо всех сил сдерживая себя. Смеяться тут было неуместно, было просто грешно.

— Как это происходило в деталях?

— Да в общем, просто. Я снял штаны, сел на какие-то козлы, опустил яйца в тазик с водою... И все!

— А сигнал подать успел?

— Что-то крикнул, но слабо. И сразу брякнулся в обморок. Это ведь естественно, верно же?

— Конечно, конечно. Тут и помереть недолго.

Я закурил, закашлялся, закутался в дым. Я долго кашлял и потом:

— На это действительно надо решиться. Я бы, например, не смог. Ну, ладно. Так чем же я могу теперь помочь? Дело-то сделано.

— Но я хочу справедливости, — со страстью, стиснув руки, сказал он, — раз это подвиг, напишите о нем! Пусть все поймут! А то что же получается? Девушки плюются, парни насмешничают.

Я пообещал, что напишу непременно. И вскоре послал в свою газету корреспонденцию. Поначалу, я назвал ее "Утраченные иллюзии". Но потом, в последнюю минуту перед отправкой, передумал. И зачеркнув этот заголовок, поставил другой: "Подвиг комсомольца".

К сожалению, "Подвиг комсомольца" напечатан не был и света не увидел. Но все же корреспонденция моя помогла. Редактор передал ее в Областной комитет комсомола, и Мак-

сима, этот деревенского Лоуренса, впоследствии наградили почетной грамотой и даже деньгами.

Так что подвиг его все-таки не прошел незамеченным, и справедливость была восстановлена.

РЕЗАЛИ ГУСЕЙ - ОНИ УМИРАЛИ, КАК ЛЕБЕДИ

И вот еще одна история, в которой трагическое густо перемешано с курьезным.

Но сначала необходимо сделать коротенькое отступление. В Алтайске, как я уже говорил, выходила районная газета, и у нее был определенный круг своих авторов. В этот круг со временем вошел и я и познакомился кое с кем. Особенно любопытным показался мне молодой поэт по имени Сема Дробышев, который писал забавные миниатюры.

В каждой миниатюре заключалась какая-нибудь изюминка, была запоминающаяся деталь. Вот, например: "мое занятие теперь — ремонт воздушных замков". Или еще: "резали гусей — они умирали, как лебеди".

Я несколько раз встречался с Семой, мы были бегло знакомы. Но как он живет и что вообще делает, я не знал. И совершенно неожиданно накануне Пасхи я вдруг получил от него письмо с приглашением приехать к нему домой по случаю его, Семиного, дня рождения.

Отказываться было неловко, да и не хотелось. И в назначенный день вместе с неизменным своим шофером Петром Азаровым я прибыл в районный центр.

Меня с самого начала слегка удивил адрес, указанный на конверте (Первомайская, 40). Он полностью совпадал с адресом больницы, где я уже успел побывать. Но, может, тут какая-то ошибка, — думал я, — какая-то путаница? Проверим на месте".

Ошибки, однако, не было. Сема ждал нас у ворот больницы. Он стоял, катая в зубах окурок, а над ним, освещенная закатом, виднелась вывеска "Психиатрическое отделение."

— Наконец-то, — воскликнул он радостно, — я уж целый час вас жду.

И повел нас куда-то в сторону, вдоль забора.

— Куда это ты? — спросил я.

— К себе, — ответил он, — увидишь. Тут есть одна лазеечка, я всегда ей пользуюсь.

Вскоре мы достигли этой лазеечки и проникли через нее на больничную территорию. Затем миновали "мертвецкую" и спустились в какой-то подвал.

Здесь находилась котельная. И Сема работал в ней кочегаром.

Помещение это было мрачное, полутемное. У входа в подвал громоздилась груда угля, а в другом его, дальнем конце зияло багровое, круглое отверстие пылающей топки.

— Вот тут я, братцы, и работаю, и живу, — широко поведя рукой, сказал Сема. — Как в преисподней, правда?

Освещенный колеблющимися отблесками огня, он сейчас и в самом деле походил на черта. На веселого черта.

Усадив нас на какие-то доски, он захлопотал, постелил на полу чистую тряпочку, выставил закуски. Затем извлек из бочки с водой бутылку охлажденной водки. Мы присовокупили к ней свою, прихваченную в качестве подарка. И так начался праздничный этот пир.

Первый стакан был поднят за поэзию.

— Я почему в первую очередь за нее? — сказал Сема, — потому, что в этом нашем бредовом мире поэзия — единственная реальность, единственная стоящая вещь. Мы все, как тени, появляемся и исчезаем. А она остается!

Мы выпили. И я провозгласил:

— Ну, а теперь все-таки за тебя! Нынче ведь твой день. Сколько тебе грянуло?

— Двадцать восемь.

— Значит, мы с тобой ровесники!

И мы еще выпили по одной. И Сема сказал:

— А теперь за вас, ребята, за моих гостей!

Бутылка кончилась. Раскупорили новую. И следующий тост предложил уже Петя:

— А теперь, — сказал он, — за нас за всех.

— Верно, — поддержал я его. — За нас, за удачу. За то, чтобы мы хотя бы сумели умереть лебедями!

Мы дружно сдвинули стаканы. И опорожнили их. И тут же наполнили снова. И я было начал:

— Ну, а теперь...

Но Сема перебил меня:

— Ребята, а куда мы гоним? Давай-ка передохнем, потолкуем.

И он закурил. И посмотрел на меня:

— Вот ты про лебедей вспомнил. Значит, читаешь меня. И я тоже тебя приметил. Потому и позвал. И вот что я тебе скажу. Я-то сам уже копченый, пропащий, а ты еще, пожалуй, сумеешь "помереть лебедем". У тебя судьба легкая.

— Это у меня-то легкая? — усмехнулся я.

— Ну, а что, — прищурился он, — что у тебя было? Война? Лагеря?

— Да. И война, и лагеря. Было все.

— Вот именно все! Значит, ты жил полной мерой. А я, например, ничего вообще не видал. Ничего! Кроме детдомов и больниц. И уже устал. И знаю, что долго не вытяну со своей болезнью.

— А какая у тебя болезнь? — осторожно спросил я, — надеюсь, ничего страшного?

— По-научному это называется "сумеречное состояние". А по-простому: вечная тоска, тяжесть на душе. Ну и иногда еще галлюцинации.

Сема был уже заметно пьян и, вероятно, поэтому говорил о себе с такой откровенностью.

— Галлюцинации-то бывают не часто, приступами, но все же я предпочитаю от больницы не удаляться. И вот так и живу. Сам видишь. Место здесь спокойное, теплое. И врачи под боком. Чего еще надо?

— И давно это началось?

— С детства. У меня родители были ссыльные, понимаешь? Отец — инженер из Москвы, мать — выпускница художественного училища. Родился я уже в тайге. А потом их угнали куда-то еще дальше, на север, а я попал в детдом. Ну и вот, с тех пор...

— А пить, — поинтересовался Петр, — пить-то тебе можно?

— Много не рекомендуется.

— Ну, так и хватит, — сказал я тогда, — и нам, пожалуй, пора уж отчаливать. На дворе ночь, а дорога не близкая.

— Нет, ребята, погодите, — сказал он просительно, — куда вам спешить? Я еще хочу вас со своими друзьями познакомить.

— Это с кем же?

— Есть тут у меня ребятишки, — подмигнул Сема, — я по вечерам к ним хожу, развлекаю. Им же ведь грустно, они на запоре.

"Что это за "ребятишки", — подумал я с сомнением, — везет мне последнее время на психов. Но что ж поделаешь? Раз человек просит...

* * *

Пройдя пустой темный двор, мы проникли в больничное здание, поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж и попали затем в коридор, тоже безлюдный, слабо освещенный одинокой синей лампочкой.

Здесь было несколько дверей. Возле одной, самой дальней, Сема остановился, прислушался. И поковыряв в замке какой-то железкой, ловко открыл его. И глазам нашим предстало странное зрелище.

В палате помещались дети: восемь мальчиков. Но что это были за дети? Мы попали в мир маленьких уродцев. Некоторые, парализованные, лежали неподвижно на своих постелях, другие же возились, балуясь, на полу...

Сема сейчас же шепнул мне:

— Вот потому их и запирают, чтобы не разбредались.

Волоча за собою иссохшие, тоненькие неживые ноги, к Семе подполз мальчуган лет восьми. Голова у него была непомерно большая, раздутая, и лоб тяжело нависал над крошечным личиком.

— Сегодня опять будешь сказки рассказывать? — спросил он.

— Нет, — сказал, присаживаясь на корточки, Сема. — Сегодня будет концерт. Мои друзья устроят что-нибудь веселенькое.

— Они артисты! — раздался звонкий голосок.

Кто-то цепко ухватил меня за пиджак. Я глянул и обомлел. У детской, державшей меня ручонки было шесть пальцев!

Петр, засопев, пробормотал тоскливо:

— Не могу. Идемте-ка, братцы, отсюда.

— В самом деле, — сказал я, — как-то жутко здесь, душно. Пошли!

— Нет, нет, — быстро, горячо заговорил Сема, — останьтесь. Для них это праздник! Ведь их же никто не любит.

Горло мое стиснула мгновенная судорожная спазма. "Господи, — сказал я мысленно, — как же так? За что им такое?"

И медленно оглядев помещение, я сказал, повернувшись к Петру:

— Ладно, дадим им концерт. Я сейчас спляшу, а ты делай музыку!

— Какую? — спросил он растерянно.

— Любую.

— Но как?

— Как умеешь. Соображай. Зря я, что ли, тебя держу?

Петр раскрыл рот, оскалился, обнажив крупные желтоватые зубы. И быстро начал щелкать по ним ногтями. Родился негромкий, четкий музыкальный ритм. И мы услышали мелодию штраусовского вальса.

И тотчас же палата огласилась восторженными детскими воплями.

Сема замахал руками, зашикал, требуя тишины. И в этой тишине я прошелся по комнате, выбивая дробную цыганскую чечетку.

Увлекшись, войдя понемногу во вкус, Петр стал затем имитировать голоса птиц и животных; он свистал, и выл, и гугукал. А я продолжал бить чечетку, и что-то вопил невнятное, надрывное, цыганское. А Сема все пытался встать на руки и беспрерывно падал, рушился на пол. (Мы ведь были здорово тогда пьяны). Но ребятишки на это не обращали внимания, они с восторгом принимали любой наш трюк. Они были счастливы. И более благодарной аудитории я еще не встречал на своем веку.

Но всему всегда приходит конец.

В ОБЩЕСТВЕ ГЕНИЕВ.

Всему всегда приходит конец... И в палату в самый разгар веселья вдруг ввалилась с грохотом группа мужчин. И один из них, коренастый, с наголо обритым черепом крикнул с порога:

— Эй, Дробышев! Ты что, давно смирительной рубашки не видел? Соскучился?

И покосившись на своих спутников, скомандовал резко:

— Взять его! Отвести в одиннадцатую!

Сему увели. Настала наша очередь. Бритоголовый сразу же подошел почему-то ко мне.

Вид у меня, должен признаться, был в эту минуту мало почтенный. Во время концерта я сбросил пиджак, расстегнул рубашку и стоял теперь, тяжело дыша, разгоряченный, растрепанный, с торчащими врозь волосами.

— Ты из какой же палаты вырвался? — спросил он, явно принимая меня за сумасшедшего.

И кто-то из-за его плеча тихо проговорил:

— Наверное, новенький. С нижнего этажа. Там они все неспокойные...

— Чепуха все это, — задыхаясь, с трудом, сказал я. — Вы путаете... Я человек вольный.

— Он — поэт, журналист и вообще, директор, — вмешался в разговор Петя.

...Эту ночь я провел в обществе гениев. В палате обитало два Пушкина и еще — Шекспир.

Был этот Шекспир худ, костляв, длиннолиц. И он беспрерывно двигался, не мог ни минуты провести в покое. И вот

он-то заинтересовал меня сильнее всего. Оказалось, что в прошлом он работал преподавателем химии в средней школе.

Стало быть, ему, — думал я, — скорее всего, подошла бы роль Менделеева или, скажем, Лавуазье. Или же он, на худой конец, мог бы вообразить себя какой-нибудь ожившей молекулой. Например, молекулой этилового спирта. Но почему же Шекспир?

Я спросил его об этом. И он ответил весьма резонно:

— А почему бы и нет?

И затем добавил:

— Шекспир — это вулканические страсти, гигантские эмоции. И все они живут во мне. Их во мне даже больше, чем люди думают, но это секрет. И ты смотри! — Он погрозил пальцем, — не проболтайся.

Я поклялся, что сохраню эту тайну навек.

С Пушкиными все обстояло проще. Это были два сварливых алкоголика, страдающих манией величия. Ну, а там, где есть эта мания, всегда присутствует и другая — противоположная. И потому оба они подозревали весь мир в зависти и в ненависти. И сами ненавидели его.

И конечно же, прежде всего ненавидели друг друга.

С одним из Пушкиных мне все же удалось разговориться. Я сразу постарался успокоить его, заявив, что я человек здесь случайный и к великим не принадлежу. Хотя поэзию чрезвычайно ценю...

— Какую? — прищурился он.

— Именно, пушкинскую, — ответил я, — самую настоящую!

— Значит, мою, — заключил он уверенно. — Ну, а этого самозванца, — он указал на другого гения, спящего, густо похрапывающего в углу, — ты не слушай. Все, что у него есть лучшего, он просто крадет. Он, к примеру, украл у меня "Пиковую даму" и не признается. Я уж лупил его за это...

Читая эти строки, вы, вероятно, можете подивиться тому, что в недрах Сибири, в этой дикой глуши, так много людей, знающих поэзию, любящих ее, вообще как-то приобщенных к литературе. Но удивляться здесь, в сущности, нечему. Нельзя забывать, что Сибирь — страна особая, необычная. Это стра-

на ссыльных интеллигентов. За время царствования династии Романовых, например, в Сибирь ушло несколько сотен российских дворян. Туда год за годом брели по этапу опальные заговорщики, франко-масоны, религиозные сектанты, затем просветители, а вслед за ними декабристы. Потом последовала новая, гораздо более мощная волна, порожденная пролетарской революцией. В Сталинский период количество ссыльных интеллигентов исчислялось уже не сотнями, а тысячами... И все они оседали в Сибири надолго, обзаводились семьями. И, естественно, оставляли в этой глуши какие-то свои следы. Один из таких следов — любовь к книгам, к чтению.

Прошла эта ночь в общем спокойно. Гении были со мною вежливы, покладисты; вероятно, им польстило то, что я ни в чем не сомневался и ни на что не претендовал.

А чуть свет меня, не выспавшегося и вялого, поволокли к врачу. По дороге служители развлекались тем, что рассказывали друг другу анекдоты. Некоторые из них были забавны. Вот, например. Пишет сын матери: "Дорогая мамаша! Мне в клинике живется очень весело. Мы резвимся, занимаемся спортом. Имеется большой, глубокий бассейн, куда мы все время ныряем. И наш врач говорит, что если мы будем вести себя хорошо, он даже напустит в него воду".

Следующий случай касался уже врачебного персонала. Приходит в больницу министерская комиссия. Ее встречает врач-психиатр, и начинает объяснять: "В этой камере сидит Наполеон, а в той, другой — Зигмунд Фрейд". Тут его спрашивают: "А кто это висит в коридоре на потолке?" "Это один псих, вообразивший себя горящей люстрой". "Так снимите его оттуда!" "Ну, что вы, — отвечает врач с беспокойством, — нельзя. Ведь тогда погаснет свет".

С этим анекдотом мы и приблизились к врачебному кабинету. Я вошел и увидел знакомого психиатра, того самого, (седенького, в очках), у которого я когда-то уже бывал в связи с историей Алексея.

— Так это, оказывается, вы? — сказал он удивленно, — это вы учинили скандал в моем отделении?

— Не скандал, а концерт, — уточнил я.

— Это все равно, — отмахнулся он, — но как же вы туда попали?

Я коротко объяснил. И попросил извинения. И потом он много смеялся, уточняя детали. Но когда мы заговорили о Дробышеве, он вдруг посерьезнел. Снял очки, протер их полой халата. И держа их за дужку и раскачивая, проговорил:

— Сема по-моему перебарщивает. И это меня тревожит. Боюсь, как бы у него не начался запойный кризис. Это, знаете, волнами накатывает.

— Вам видней, — ответил я, — но мне, лично, кажется, никакой особой волны нет. Сема просто жалеет ребятишек, заботится о них и каждый вечер к ним ходит. Ну, а то, что случилось вчера, скорее наша вина, чем его.

— Вот как! — с интересом произнес врач, — каждый вечер ходит туда?

— А чем это плохо? Ведь он один. И они по вечерам тоже всегда одни. Скучают. Почему же с ними нет никого?

— Это сложный вопрос. Не хватает специалистов, недостаточно средств.

— Но неужели же нельзя нанять какую-нибудь простую женщину? Дорого это не обойдется.

— Можно, конечно, нанять. Но дело тут в другом. "Простые" женщины там не задерживаются, быстро сбегают. Вот вам парадокс: казалось бы, кому же еще и заниматься несчастными детьми, как не им. Ан — нет, не хотят, не могут.

И он задумался, умолк. И потом с легким вздохом:

— Сколько еще есть неясностей, парадоксальных вещей! Человеческая психика полна загадок.

— Насчет парадоксов — не знаю, — сказал я, — но что касается детишек, то могу вам посоветовать: приставьте к ним Сему. Уж он-то не сбежит. Я ручаюсь.

— Да, это надо обдумать, — медленно проговорил врач, — да, да, пожалуй...

— А эти дети, — спросил я, — они отчего такие страшные?

— Ну отчего, — сухо усмехнулся врач. — Тут много причин. Но в основном — грехи родителей. Алкоголизм, наркомания. Вообще, дурная наследственность.

— Но раз они в вашем отделении, значит, у них еще и тут чего-то не хватает. — Я покрутил пальцем у виска.

— Естественно, — сказал врач, — у каждого из них свой душевный надлом. Вот, например, там есть Костя с шестипалыми руками, видели?

— Жутковатое зрелище, — поежился я, — ведь шесть пальцев, по народным поверьям, бывает у домовых, у леших.

— И вот потому-то родители и хотели его убить. Утопить в болоте. Спасла Костю счастливая случайность. Но с тех пор он всегда сидит в помещении, гулять не ходит. У него так называемая "боязнь открытого пространства".

— Что ж это за родители? — пробормотал я, — их самих надо бы утопить.

В этот момент, в кабинет ввели Петра Азарова. Он был зол и отчаянно вырывался из цепких рук бритоголового санитара.

Когда санитар ушел, Петр прошипел, потирая левой рукой запястье правой:

— Жандарм:

И потом, обращаясь к врачу:

— Где вы их набрали? Им только в тюрьме служить или в лагере.

— А они там как раз и служили, — отозвался с улыбкой врач. — Тут неподалеку расформировался один лагерь, ну и мы взяли кое-кого из охраны.

Затем мы стали прощаться. Пожимая мне руку, врач сказал вдруг:

— Да. Чуть не забыл! Относительно нашего подопечного Алексея. Вы знаете, он пошел на поправку.

— Он разве был у вас?

— Неделю назад. И перемена весьма заметная. Вот видите, что значат домашние условия! Теперь вам больничная обстановка ясна, представьте, что было бы, если бы он лежал здесь!

— Стало быть, он скоро поправится окончательно?

— Ну, не совсем, — покачал головой врач. — Кое-какие явления остались. Например, шофером ему уже не быть никогда. Я специально проверял его реакции. Он не выносит шума мотора. И, вероятно, долго еще будет бояться темноты.

(Окончание в следующем номере).

СТЕРИЛЬНАЯ ЧИСТОТА И РАЗНУЗДАННОЕ БЕЗУМИЕ

Ни один вид искусства в эпоху модернизма так органически не связан с развитием всей цивилизации и материальной культуры, как искусство изобразительное. Сегодня пластическое искусство во многом определяется уровнем прогресса, "авангардной" направленностью страны в целом. Центры цивилизации современного мира — это и центры современной живописной культуры. Напротив, "технологические провинции" — Россию, Израиль, Австрию — отличает и захолустное искусство, в основном имитирующее опыт американского авангарда.

Но любопытно, что именно в "художественных провинциях" необыкновенного расцвета достигает сюрреализм или реализм фантастический (в его австрийском варианте), искусство псевдолитературное, эстетически нелепое, "китч", украшающий добротные гостиные бюргеров и новых буржуа. В противовес сюрреализму, в борьбе с буржуазной косностью, неизбежно пробивает себе дорогу — "периферийный авангард" — искусство эпатажа и протеста, коммерчески несостоятельное и не понятое толпой. Это искусство заполонило сегодня австрийские музеи новой живописи...

Центральной фигурой австрийского авангарда принято считать Вальтера Пихлера. Эстетика Пихлера, художника поколения шестидесятых годов, восходит к промышленному дизайну, черчению, архитектурному рисованию. Строгую графичность, голую архитектонику карандашного рисунка, Пихлер обращает в индивидуальную концепцию своего художественного мира. Чертеж и архитектурный проект в современном художественном сознании Пихлера становятся объектами подлинного, высокого искусства. Работы Пихлера — это своего рода чертежи, с цифровыми отметками, стрелками-указателями, надписями, где весь рисунок размещен в границах условного листа, очерченного сеткой, словно "миллиметровая" бумага.

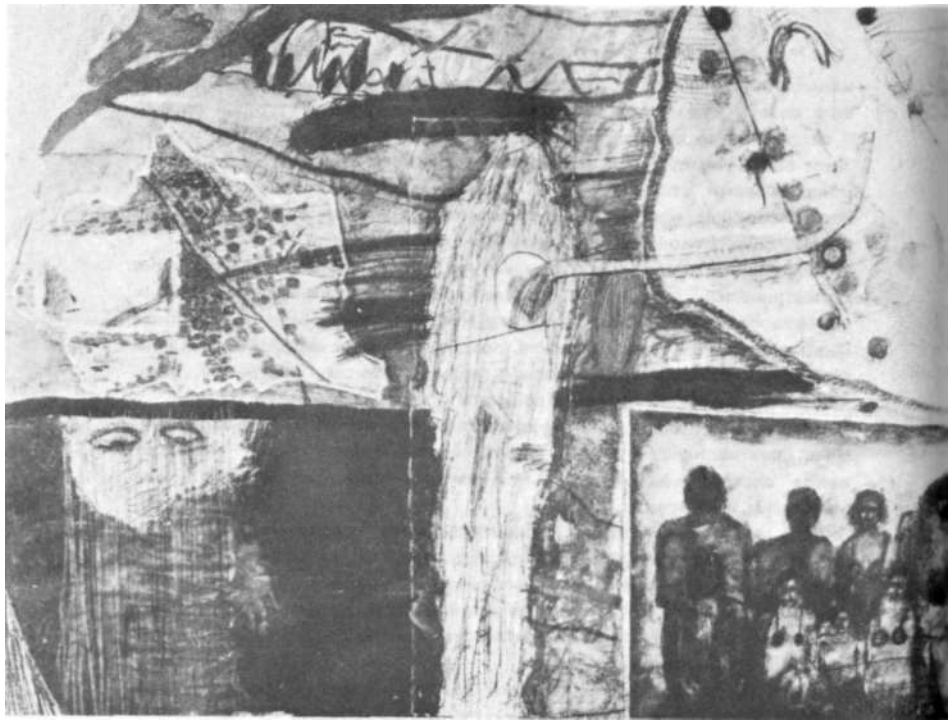
Обращаясь от рисунка к скульптуре, Пихлер конструирует строгие геометрические построения, прослеживая сопряжения неоднородных материалов — дерева, пластика, нейлоновой лески, бечевы. Пластика Пихлера в скульптуре и объекте, пожалуй, близка европейскому конструктивизму и американскому геометрическому абстракту, а по лаконичности и сдержанности решений — минимализму.

Похоже, что принципы художественного видения Вальтера Пихлера, составляющие основу австрийской архитектуры, передают некое австрийское национальное начало, архетипы национального мышления и эстетики.

Под влиянием Пихлера находится группа художников молодого поколения. Бруно Джиронколи, художник семидесятых годов, по мировоззрению и эстетике ближе всего примыкает к конструктивистам начала века. У Пихлера он прежде всего позаимствовал прием расположения рисунка как технического чертежа, в границах линованной миллиметровой бумаги.

Конструктивисты середины семидесятых годов — Лоридз Ортнер, Клаус Пинтер, Гюнтер Кельп — выступают в искусстве как коммерческая компания технических дизайнеров "Хаусрукер и К", предлагающая свои проекты и конструкции: модели водопадов, схемы весеннего разлива реки Рейн, проект отеля в космическом пространстве.

Но есть и другое направление авангардного искусства новой Австрии, совершенно отличное от эстетики архитектурного конструктивизма. Это в высшей степени эмоциальное искусство, искусство необузданных человеческих страстей, навязчивых садистических фантазий, физической боли, кошмара, насилия, страха уничтожения и смерти. Художественное сознание представляющих это направление Петера Сенгля, Рудольфа Шварцкоглера, Франца Шихо явно находится во власти гигантского садо-мазохистического мифа недавнего прошлого. Художники этого направления неизменно сочетают живописный прием с театральными элементами, с живым действием. Показательно, что художники-модернисты молодого поколения навязчиво используют в своих работах символику виселицы, расстрела, погони. И апофеозом этого становится словно ненароком вынырнувший из прошлого нацистского мифа многочасовой хэппенинг, на протяжении которого бессильного человека травят настоящие полицейские овчарки, а далее участники хэппенинга целятся в него, как в мишень на



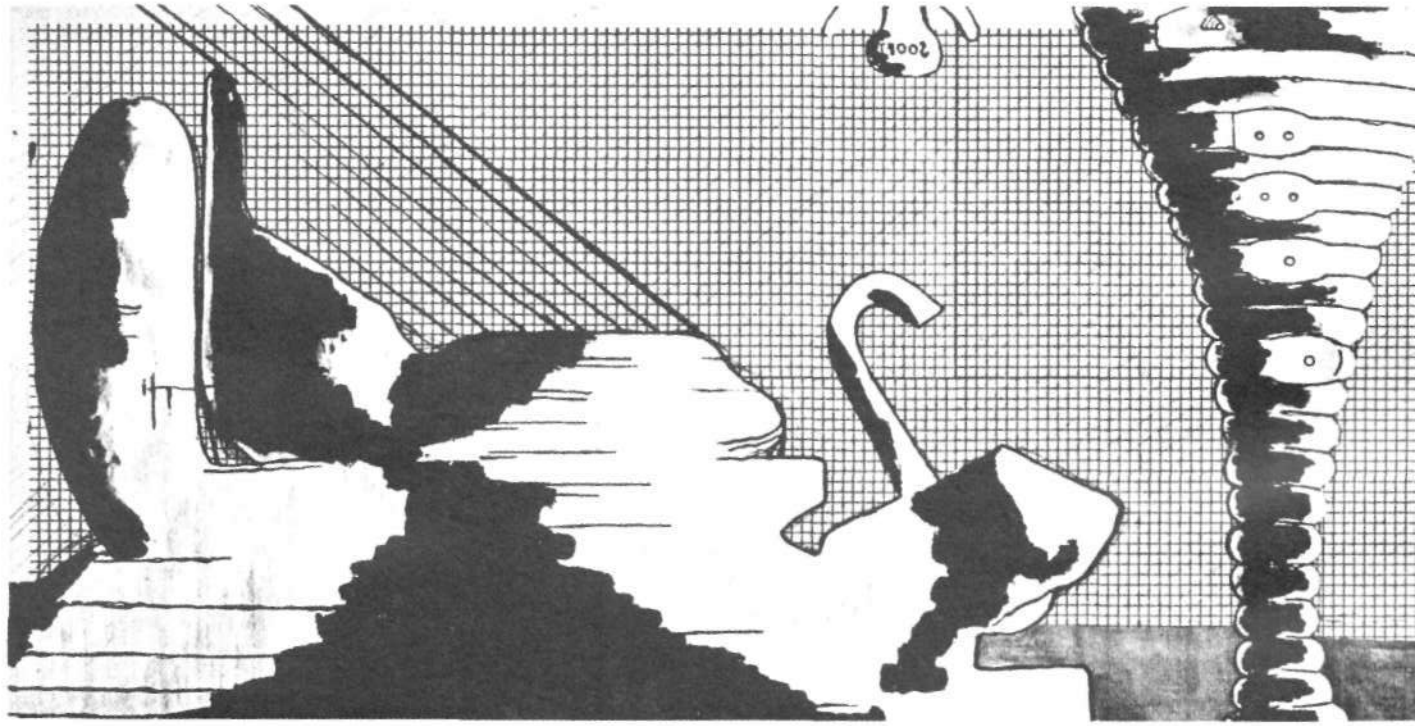
Франц Шихо. **Рисунок с двойным расчленением.**

стрельбище... И кровь, и пот, и стоны, и жестокость, и страх — все подлинное и неподдельное.

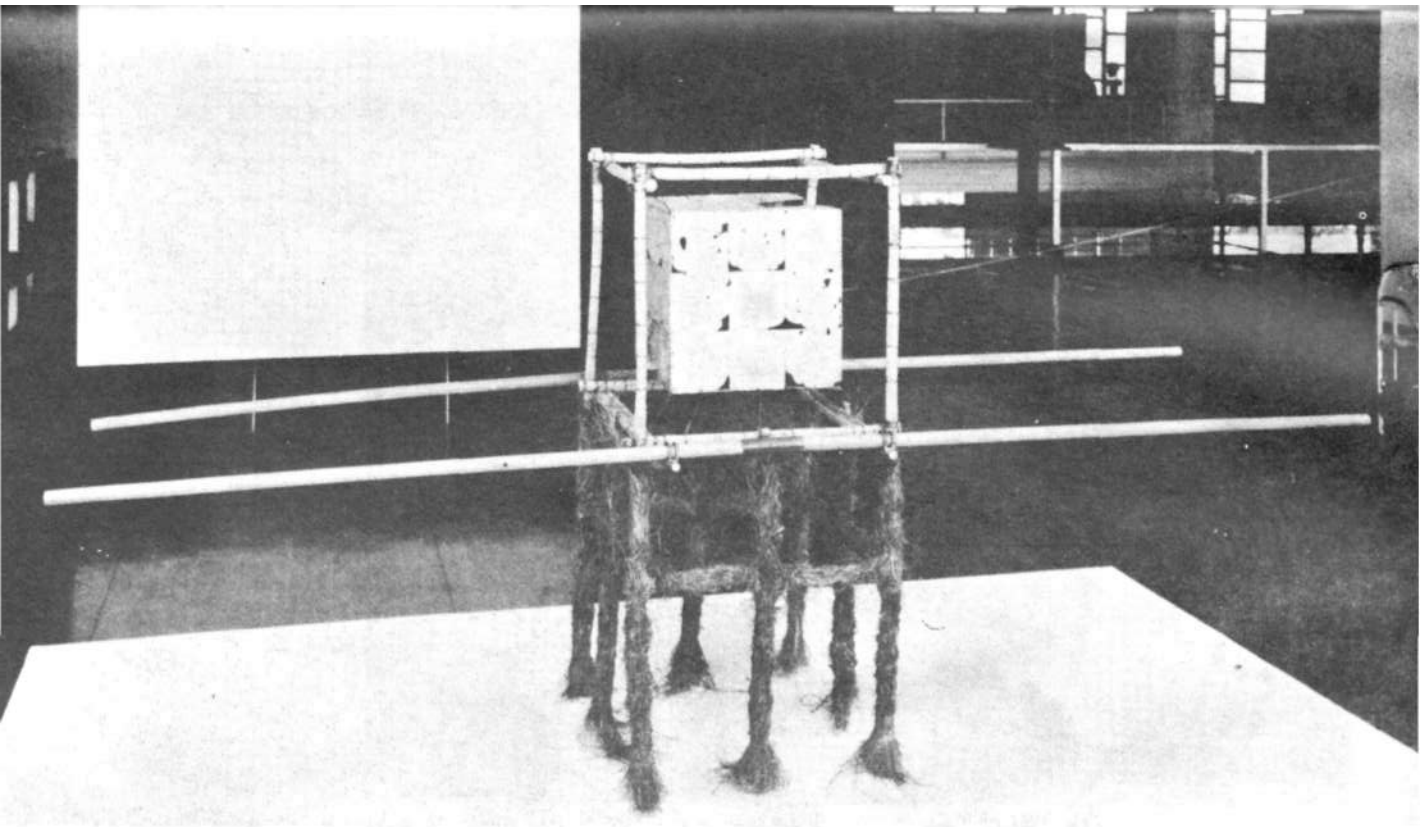
Итак, в современном искусстве Австрии — живут, сосуществуют два мифа прошлого, обратившие наш век в бесконечную трагедию — стерильная, безупречная упорядоченность и чистота, и разнузданное, безумное наслаждение насилием и болью...

Наталия ГРОСС, спец. корр. журнала "Время и мы"
Вена, октябрь 1979.

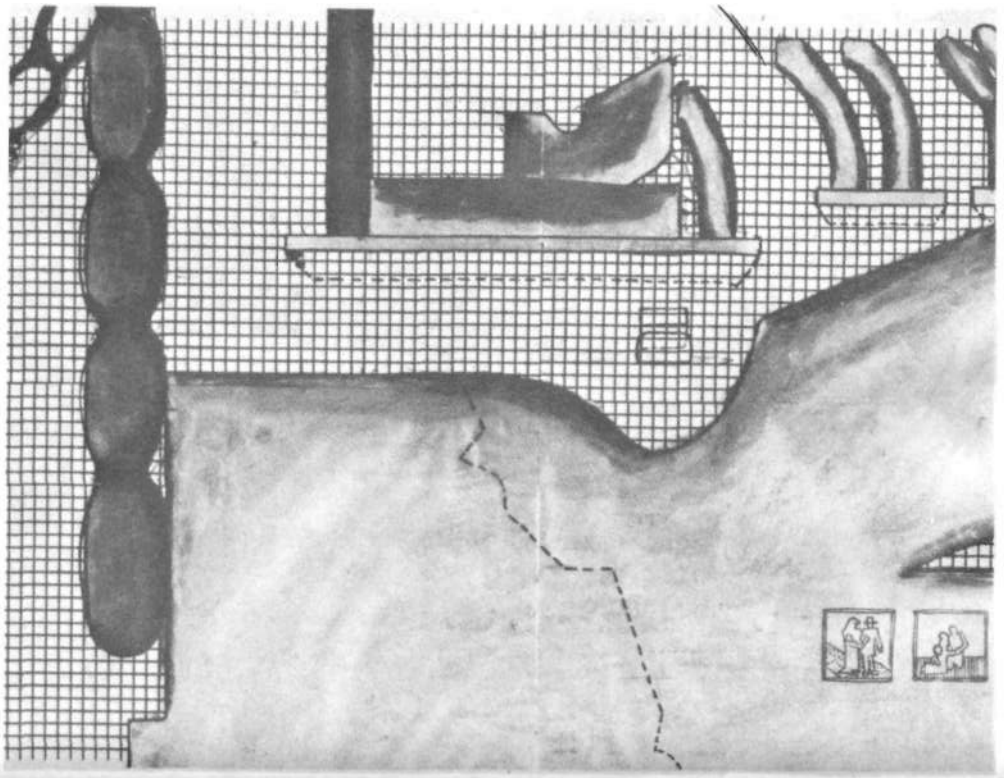
Петер Сенгль. **Пасхальная картина.**



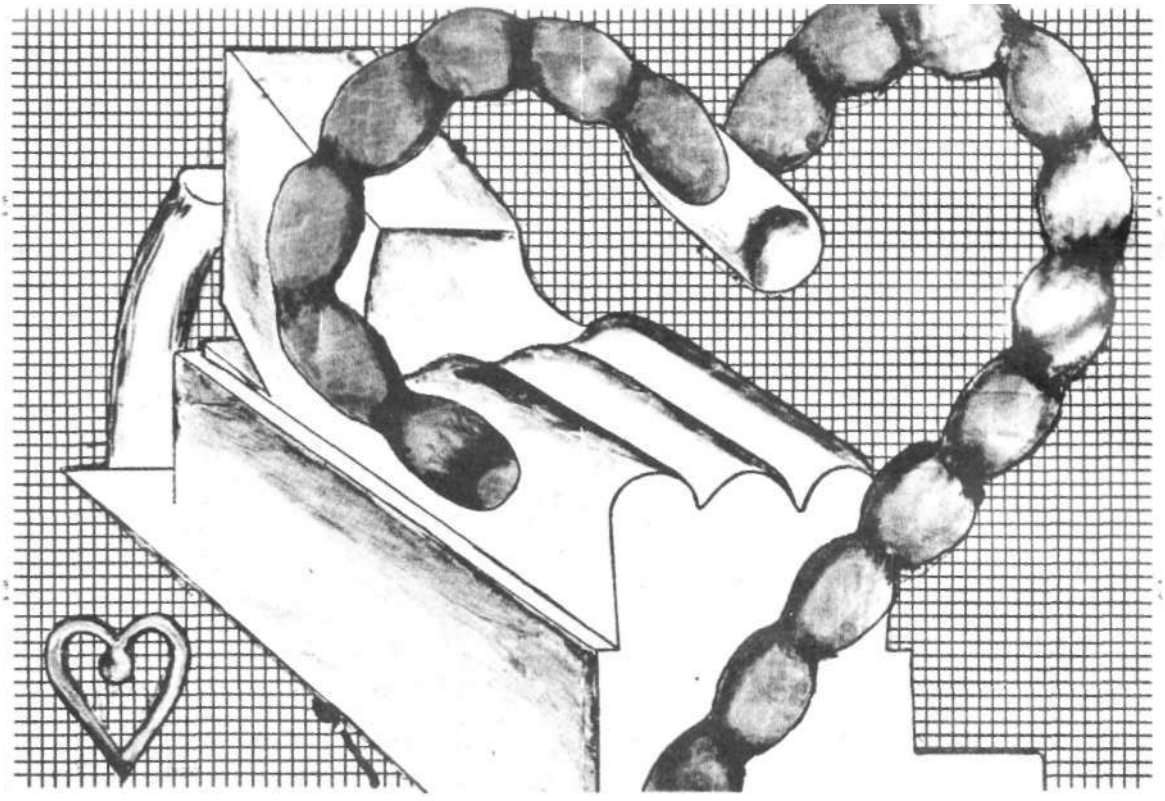
Бруно Джиронколи. **Рисунок без названия.**



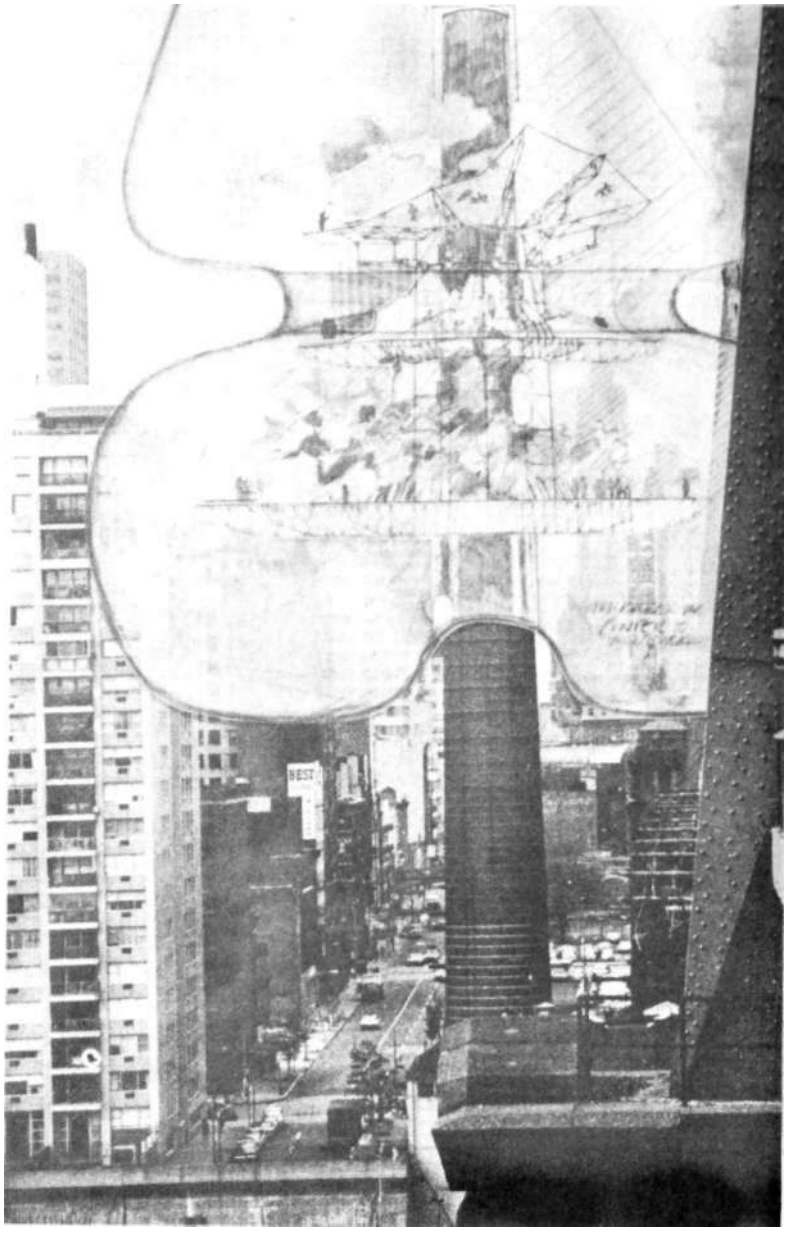
Вальтер Пихлер. **Передвижной шкаф.**



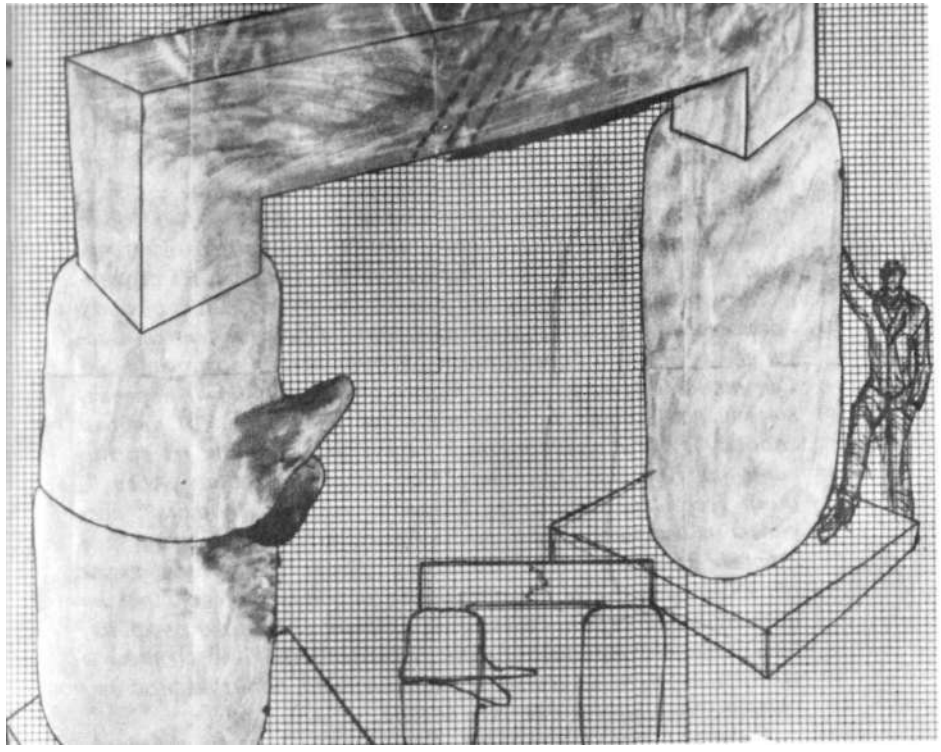
Бруно Джиронколи. Рисунок без названия.



Бруно Джиронколи. Сердце.



Хаусрукер и К. (Ортнер, Пинтер, Кельп). **Фотомонтаж с дорисовкой.**



Бруно Джиронколи. **Рисунок без названия.**

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начинай с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля и Гольдштюккера, публикация воспоминаций Самуила Микуниса, писем Милюкова и Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать отрывок из воспоминаний Кирилла Хенкина "Мой друг полковник Абель", цикл эссе Льва Наврозова "Запад и посредственность", рассказы из американского цикла Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагаются несколько более высокие подписные цены.

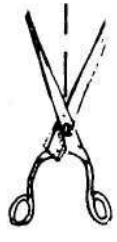
Установлены следующие цены предварительной подписки на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1300 лир, на шесть месяцев — 780 лир. С целью экономической поддержки журнала — 1500 лир и 850 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, последний не позднее января 1980 года).

В США и КАНАДЕ: на год — 48$, на шесть месяцев — 24$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR, на шесть месяцев — 110 F.FR, С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта — 370).

В ГЕРМАНИИ: на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56. (авиапочта — 185).



"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

Сроком на **6 месяцев**
на **12 месяцев**
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:
P.O.B. 24123, **Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой **сроком** на 6 **месяцев**
Обыкновенной почтой на 12 **месяцев**
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имп журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Александр ТУЧКОВ. По образованию художник. Окончил институт в Ленинграде. Несколько лет назад эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Живет в Нью-Йорке, работает ночным сторожем.

Феликс РОЗИНЕР. Писатель, поэт, музыкальный критик. Родился в Москве в 1936 году. Закончил Полиграфический институт, учился в консерватории, был на инженерной работе. В начале 60-х годов выступает в печати как поэт. Профессиональный литератор с 1967 года. В Советском Союзе опубликовал семь книг, в том числе беллетризованные биографии Э. Грига, С. Прокофьева, литовского художника и композитора Чюрлениса. Постоянно сотрудничал в музыкальной журналистике. Многое из написанного в Советском Союзе — роман, повести, пьесы, новеллы, стихи, а также искусствоведческие работы — оставалось неопубликованным и теперь готовится к печати. В Израиле — с конца 1978 года.

Лия ВЛАДИМИРОВА. См. журнал № 31.

Дора ШТУРМАН. См. журнал № 42.

Нафтали ПРАТ. (Анатолий Парташников). Историк философии и социально-политических учений. Родился в Киеве в 1935 году. С 1956 по 1960 год пребывал в Потьминских лагерях за "антисоветскую деятельность". В 1968 году окончил филологический факультет Киевского университета. В 1971 году репатриировался в Израиль. Подготовил диссертацию на соискание степени доктора философии в докторантуре Иерусалимского университета. Специализируется в области русской философии XIX — начала XX века. Опубликовал несколько работ, посвященных анализу советской философии, в разных периодических изданиях за границей.

Эмиль КОГАН. Литературный критик. Родился в Москве в 1941 году. Окончил факультет журналистики Московского Государственного Университета. Работал литературным сотрудником в газете "Московский комсомолец". В 1968 году эмигрировал во Францию. Преподает русский язык и советскую прессу в Институте Восточных языков (Париж). Опубликовал ряд статей во французских изданиях: "Ля кянзен литтерер", "Ле леттр Нувель", "Ле Монд".

Ефим ЭТКИНД — писатель и критик. Родился в 1918 году. Окончил Ленинградский университет. Участвовал в войне против гитлеровской Германии на Карельском и Третьем Украинском фронтах. Затем преподавал в ленинградских ВУЗах. С 1952 по 1974 год — доцент, а затем профессор Ленинградского педагогического института им. Герцена. Уволенный с работы и лишенный ученых степеней и званий, Ефим Эткинд вынужден был в октябре 1974 года эмигрировать из России. Ныне — профессор Десятого Парижского университета (Нантар).

Александр ЗИНОВЬЕВ. Родился в 1922 году. Доктор философских наук, профессор, член Финляндской Академии Наук. Автор многочисленных книг и статей по логике и методологии науки. Многие из них изданы на английском, немецком и других европейских языках. Выдвигался в члены-корреспонденты Академии Наук СССР, но не был избран. Многократно был приглашен на международные конгрессы и симпозиумы, но ни разу не был выпущен. Был членом редакционной коллегии журнала "Вопросы философии", но вышел из коллегии в силу невозможности публиковать авторов по своему выбору. Некоторое время заведовал кафедрой логики Московского Университета, но был освобожден от заведования с целью "укрепления" руководства кафедрой. В своих сочинениях Зиновьев развивает оригинальную логико-философскую концепцию, ориентированную на критический анализ всех явлений современной культуры, облеченных в языковую форму. В связи с преследованиями советских властей Александр Зиновьев вынужден был эмигрировать из Советского Союза. В настоящее время живет в Мюнхене. Книги Зиновьева "Зияющие высоты", "В преддверии рая" и другие снискали ему мировую известность и переведены на многие языки мира.

Михаил ДЕМИН. Писатель. Родился в 1926 году. Окончил школу, а затем художественное училище. Десять лет находился в заключении, причем большую часть этого срока — на Колыме и в Норильске. В 1964 году Михаил Демин окончил двухгодичные высшие литературные курсы С 1968 года живет в Париже. На Западе опубликовал три книги о жизни уголовного мира в России, которые переведены на многие языки.

В ИЗРАИЛЕ И ПАРИЖЕ ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ. В ГЕРМАНИИ - В АГЕНТСТВЕ НЕЙМАНИСА. В США - РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ Э. ШТЕЙН.

7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 381-05-97 USA.

Магазин русской книги

LES EDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Genevieve, 75005 Paris

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМКА-Пресс:

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга вторая: Претендент на престол. 1979, 300 стр.
Продолжение смешных и горестных приключений Чонкина, волею всевидящих органов, ставшего в ходе следствия руководителем страшного заговора против советской власти. Все действие происходит на фоне неразберихи и паники первых месяцев войны.

ВЛАДИМИР КОРМЕР. Крот истории. 1979. Стр. 187.
Повесть о советском эксперте по внешней политике, отдыхающем в санатории, где раньше жил Сталин. Мечта о карьере, бесконечные интриги, попытки найти нового вождя народа, преследующие воображение героя, постепенно приводят его к безумию. Единодушным решением жюри повести присуждена премия на конкурсе Даля за 1978 год.

ПОПОВСКИЙ М. — Жизнь и житие Войно-Ясенецкого Архиепископа и хирурга. 1979. Стр. 513.
Книга об Архиепископе Луке (Войно-Ясенецком) — миссионере и хирурге, стойком исповеднике веры и верности Русской церкви в годы гонений на нее при советской власти. Жизнь Владыки Луки показана на фоне бурных событий двадцатого века и широкой картины жизни России и Русской Православной Церкви под режимом большевиков.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ. Процесс исключения. 1979. Стр. 207.
Картина литературной жизни послехрущевского периода. Описывая свое исключение из Союза писателей, а затем из всех издательств и как бы из самого общества, писательница расширяет рамки повествования, рассказывая о судьбах других исключенных и о самом процессе, приобретающем ныне обратный характер, когда уже не Союз расправляется со своими членами, но сами писатели исключают его из собственной жизни.

ЛИФШИЦ-ТРИО

Борис ЛИФШИЦ (скрипка), Цви ЛИФШИЦ (альт), Реула ХОЙЗНЕР (виолончель). Гастроли в Израиле с 9 по 14 января 1980 г. Концерты в Иерусалиме, Хайфе, Реховоте, в кибуце Шваим. Выступления по "Голосу Израиля".

Европейская печать о Лифшиц- Трио:

ZUGER NACHRICHTEN (7 марта 1979)

Непередаваемое наслаждение доставил слушателям струнный концерт в исполнении Лифшиц-Трио, выступавшего по приглашению международного женского клуба. Молодые художники, в музыкальную программу которых была включена премьера "Графика" Владимира Фогеля, продемонстрировали особую любовь к изысканной камерной музыке...

TAGES AUZEIGER (13 сент. 1979)

Может быть, от того Лифшиц-Трио доставляет такое удовольствие публике, что молодые музыканты уходят от привычных шаблонов. Их интерпретация отличается непревзойденной техникой в сочетании с музыкальной пластичностью.

DER ZURCHER OBERLANDER (4.10.1979).

Лифшиц-Трио не может не вызывать восхищения у слушателей. При исполнении Шуберта музыканты великолепно передают контраст трагической и танцевально-легкой темы. Скрипач и альтист (братья Лифшицы) в одном-единственном звуке способны передать всю гамму чувств и переживаний. Все три музыканта с одинаково убедительным успехом проявляют себя как в романтической, так и классической музыке.

ZURICHEE-ZEITUNG (14 сентября 1979)

"Сегодня мы уже не представляем себе музыкальной жизни Цюриха без этого камерного ансамбля".

КОГДА БАНК «ЛЕУМИ»

До 17.9. БОНУС 25% СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАНКА ЛЕУМИ

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ БОНУС ДО 22,500 ЛИР

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОЛУЧИТЕ ЕГО

БОНУС В 25% ПО ПРОГРАММЕ «КОАХ АД 120» НА ЛЮБУЮ СУММУ ОТ 500 ДО 90.000 ЛИР МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В БАНКЕ «ЛЕУМИ», БАНКЕ «ИГУД», БАНКЕ «АЛИЯ-ЛЕУМИ» И БАНКЕ «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».

БАНК «ЛЕУМИ» —
— банк, шагающий в ногу со временем.

bank leumi בנק לאומי

E.TAL ADV

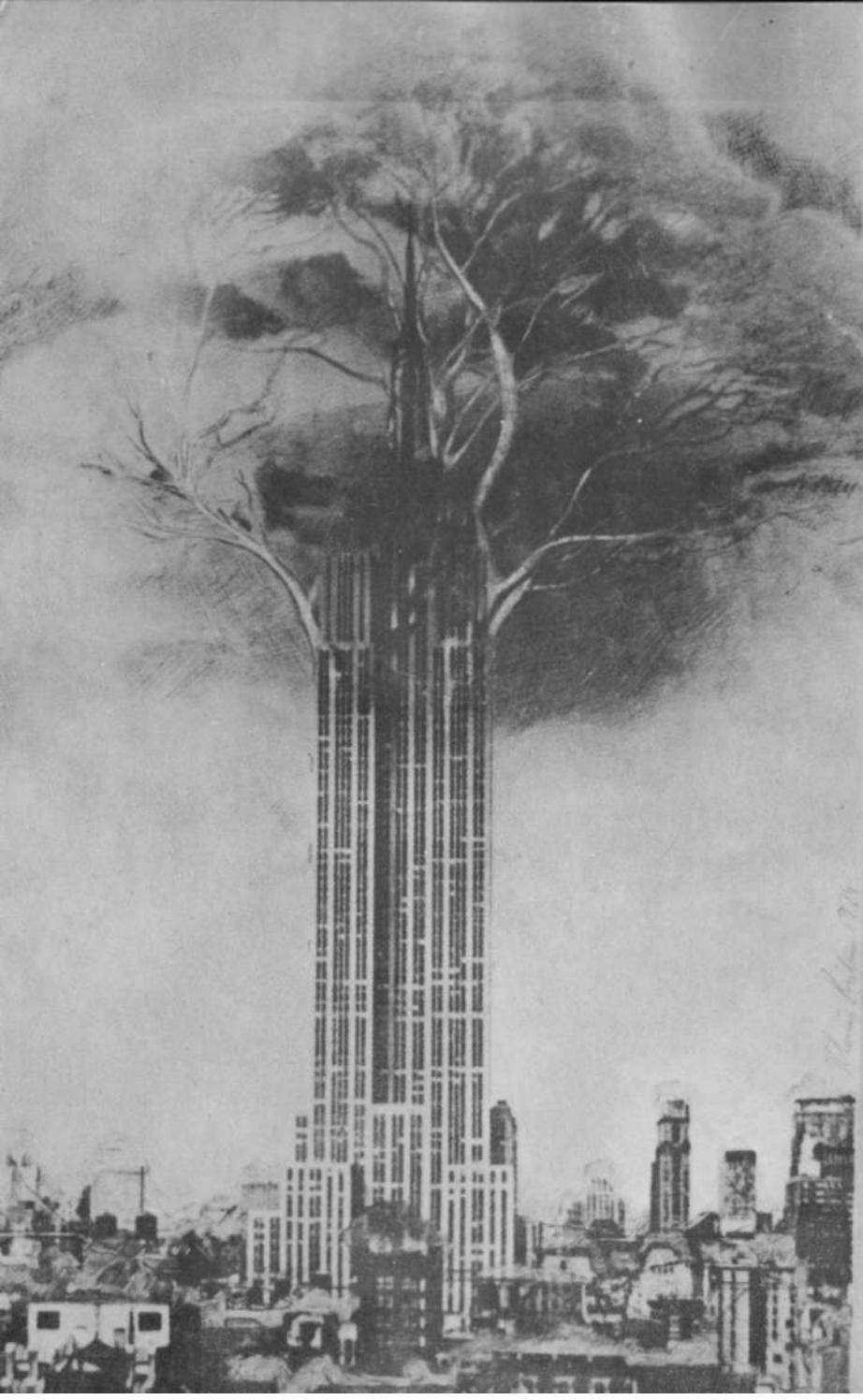
Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", уя. Шенкин, 26, Гиватаим
Тел. (03) 72-58-40.
26 Shenkin St., Givataim.
Письма и корреспонденцию направлять по адресу П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.
OCR и вычитка - давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский
Корректор и литературный редактор Ася Левина
Технический редактор Наталья Рубина

На четвертой странице обложки:
Хаусрукер и К. (Ортнер, Пинтер, Кельп). **Фотомонтаж с дорисовкой.**

Фото, опубликованные в разделе вернисаж "ВреМя и мы" на четвертой странице обложки, взяты из каталога "PARALI-ELAKTION".

(Von-der-Heydt-Museum **Wuppertal)**